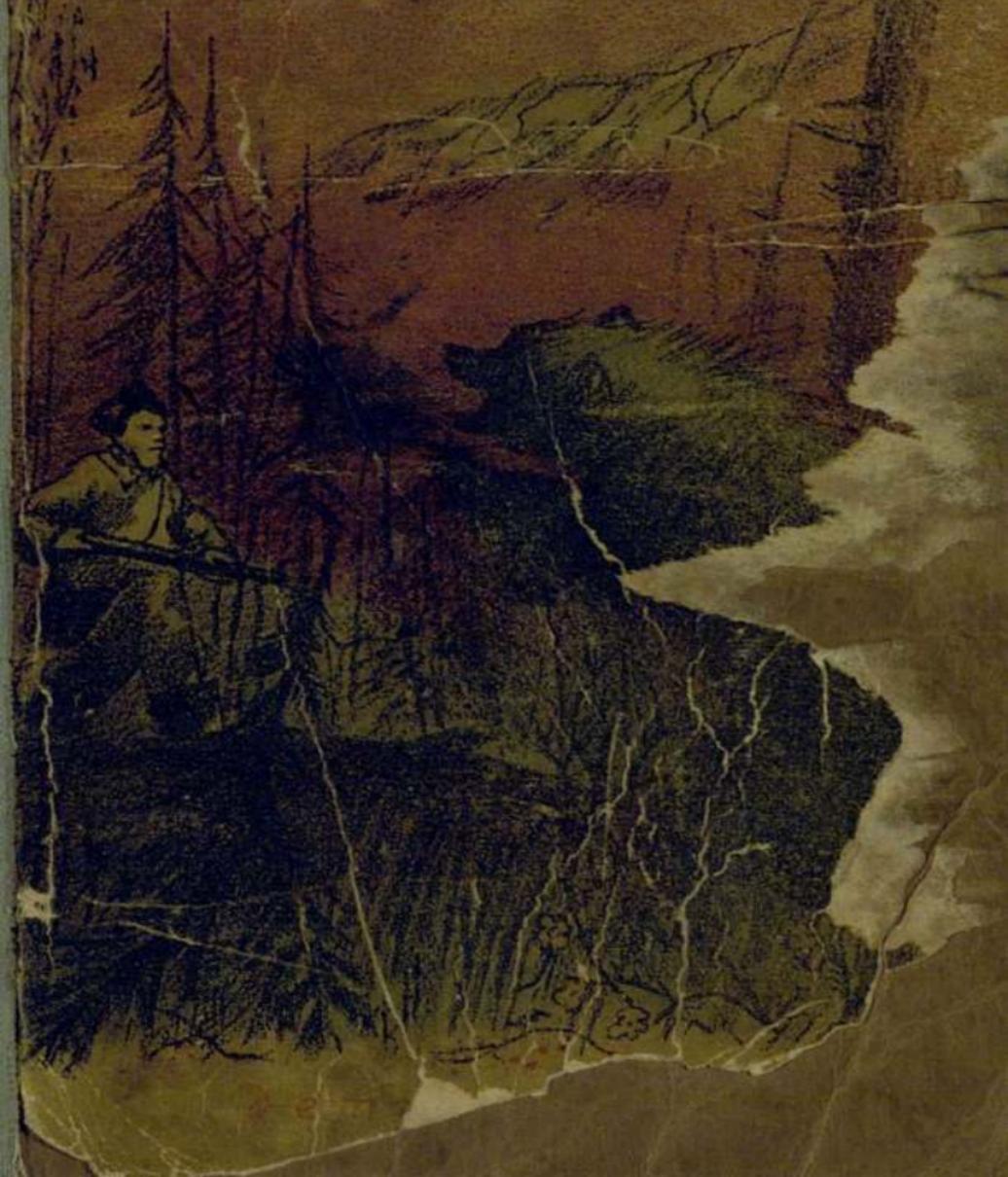
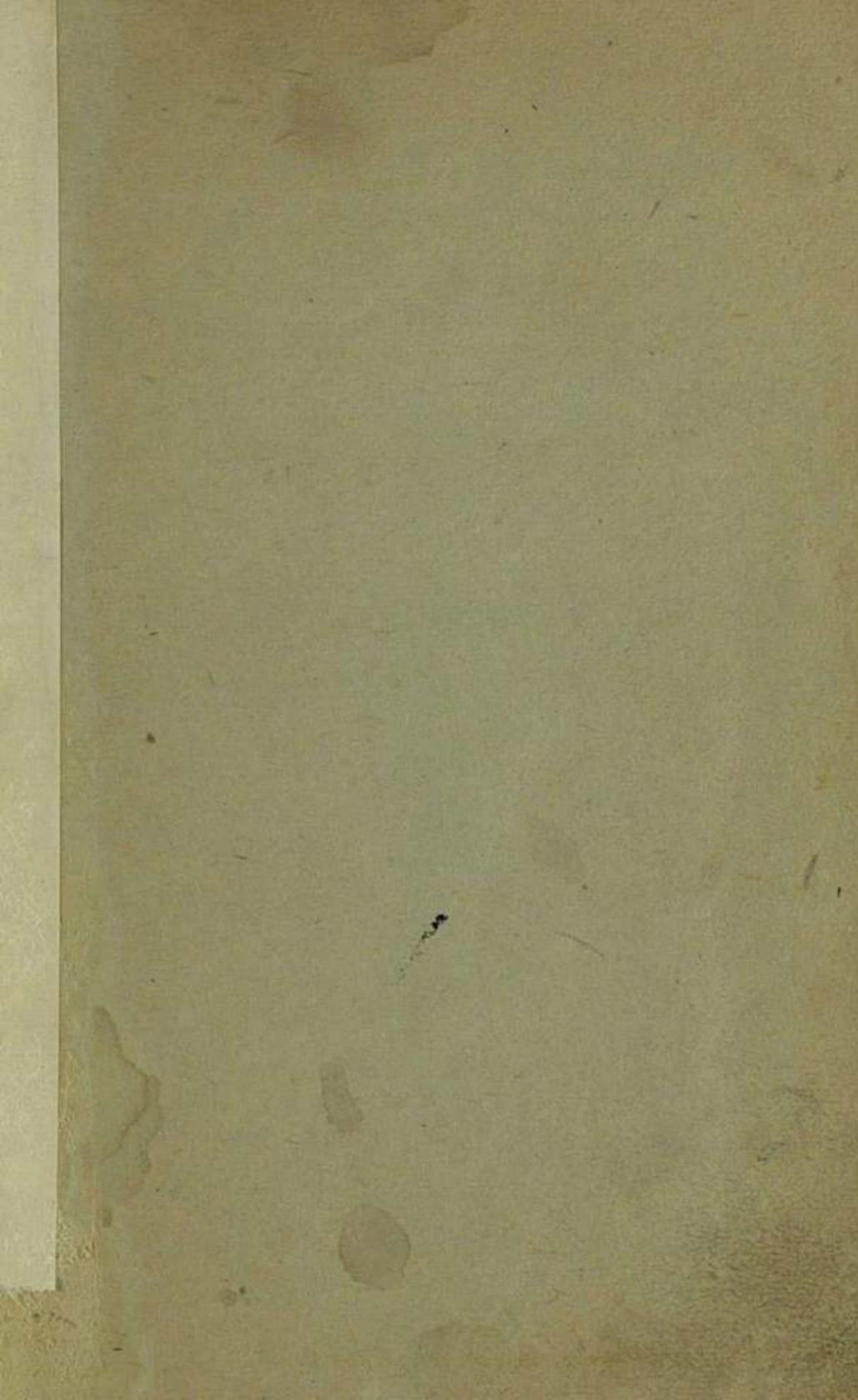


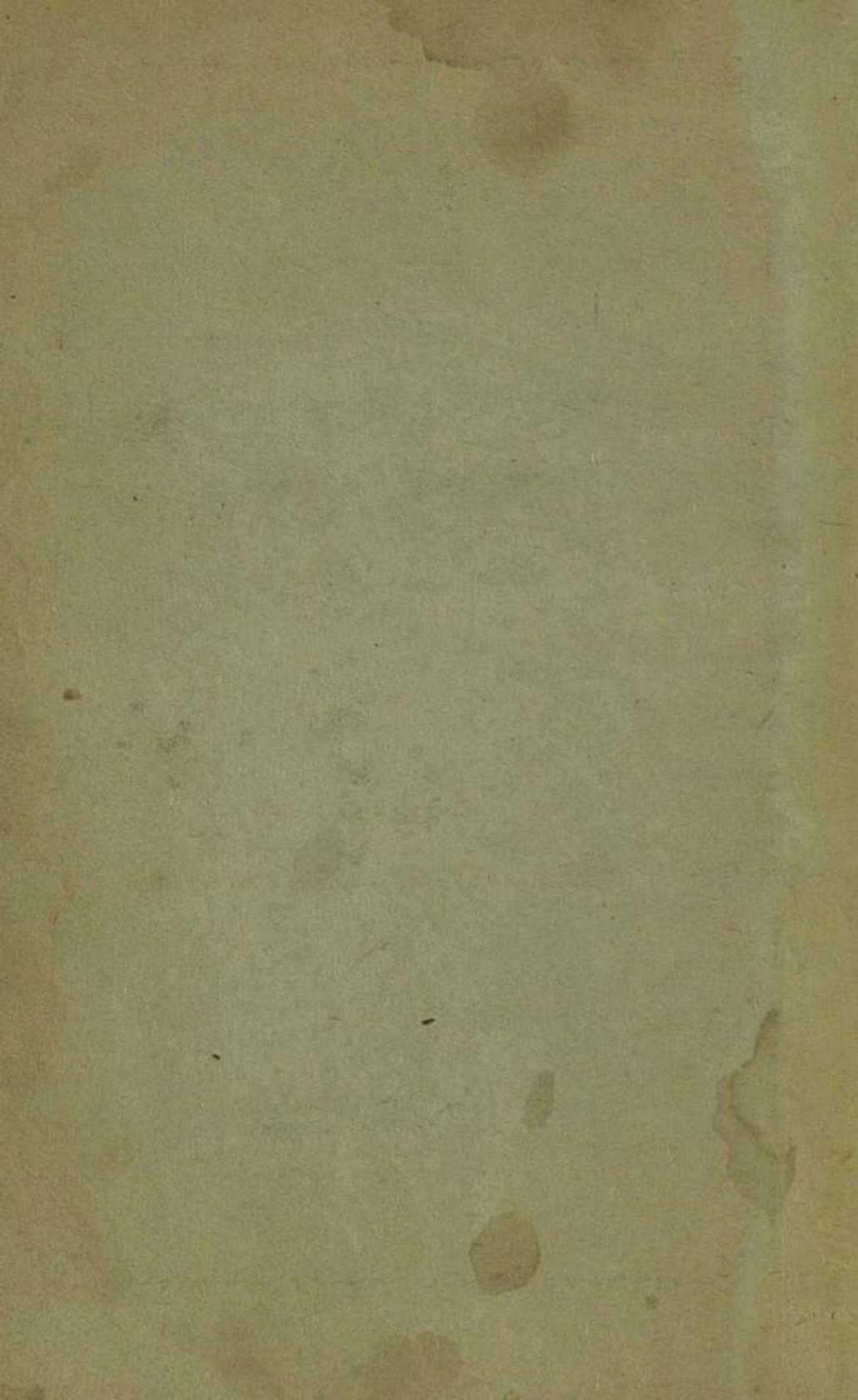
В. Шанки

НЕЧАЯННЫЕ ВСТРЕЧИ









В. БИАНКИ

ВНЕШНЯЯ
МЕСТНОСТЬ
ИЛИ
ДОДЕО
№ 2703

НЕЧАЯННЫЕ
ВСТРЕЧИ

Рассказы



Рисунки Н. Кострова

Государственное Издательство
Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1947 Ленинград

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮНАТАМ

681133 КХ-реда

Российская государственная
детская библиотека

РАСКРЫТИЕ ТАИН

Есть люди, которые ни разу в жизни не выстрелили по утке, поднявшейся из камышей, никогда не видели, как синекрылая стрекоза присядет отдохнуть на гусиное перышко поплавка и замрет, точно засмотрится на отражения облаков, проплывающих темным подводным лесом. Больше того: иной человек доживает до седых волос, а так и не сумеет отличить ольху от осины.

Думается, что равнодушный к природе человек чем-то бедней, нехватает ему, может быть, истинного поэтического чувства, может быть, самой простой любознательности к тому, что лежит за пределами его повседневной жизни. И уж если бывают такие взрослые люди, то нет ребенка, нет подростка, которому ничего бы не говорили звериные и птичьи голоса, запахи земли, разогретой июльским солнцем, всё, что таится в лесной чаще и в глубинах озер, — «стройный мир существ, населяющих землю», как называл всё живое великий русский ученый-природовед К. А. Тимирязев.

Читатели «Нечаянных встреч», без сомнения, хорошо знают имя их автора. Не за горами то время, когда и для них всё было в природе тайной, всё — загадкой: и как птицы вьют гнезда, и как рождается пестрая бабочка. Вот тогда-то зачитывались они историей о глупом маленьком щенке, который убежал из дома на свою первую охоту. Несмышлениш — он погнался было за жуком, таким беззащитным на вид, и жук-бомбардир вдруг выпустил ему в нос струю едкой отвратительной жидкости. Он заметил пеструю тонкоклювую птицу, и удивительная птица — это была выпь — внезапно пропала, исчезла из глаз, и только игру солнечных пятен в тростниковых зарослях увидел оторопелый охотник. Так малышам рассказывает В. В. Бианки об основных жизненных явлениях — о мимикрии, о защитных средствах, которые вырабатывают живые существа путем естественного отбора.

Это кажется странным: читателям, едва освоившим грамоту, говорить о том, что преподают на уроках дарвинизма в 9-м классе! Казалось бы, этому возрасту только сказки впору. В «Лесных домишках» действует маленькая ласточка-береговушка, отбившаяся от стаи. В своих странствиях она видит, как гнездятся, выводят птенцов самые разные птицы. Это — сказка, в ней пти-

цы разговаривают между собой по-человечьи, и вместе с тем это зоологически точное сообщение о птичьих гнездовьях. О чем бы ни рассказывал детям В. Бианки, в основе его рассказов и сказок всегда лежит точное знание. Вот жадные хищники подстерегают со всех сторон маленькую рыбку-колюшку («Рыбий дом»), и вот мирное население леса — птицы разных пород, собравшись скопом, гонят из лесу своего заклятого врага — сову-неясыть («Лесные разведчики»). Да, борьба за существование в природе жестока, сильный хватает слабого, большой — маленького, но действуют в ней и силы содружества, именно те, о которых говорил Энгельс в своих замечаниях по поводу учения Дарвина.

Дело однако не только в том, что В. Бианки рассказывает детям о явлениях живого мира, уже изученных естествоведами. Так можно было бы не привлечь, а оттолкнуть от себя маленьких читателей. В самом деле, что же увлекательного было бы в том, если бы каждой своей сказкой, каждым рассказом писатель как бы твердил: «Тайна? Загадка? Да никаких загадок нет, всё объясняется очень просто, всё давным-давно известно». В рассказах Бианки главное — это бесконечное удивление перед чудесами живого мира и радость исследования.

Вспомним «Лесную газету», этот своеобразный вестник сезонных, из года в год повторяющихся в природе явлений. Эта книга В. Бианки не раз переиздавалась у нас, будет переиздана еще и еще и обошла уже в переводах многие страны мира. Самая ее форма — коротенькие рассказы о приключениях на охоте и на рыбной ловле вперемешку с бесчисленными корреспонденциями с лесов и полей, со всякого рода справками и советами юным натуралистам — необычайна; она пестра и празднична, как самый лес весной, полный всяческой жизни. Так чувствовать природу и писать о ней может только человек, который и шестнадцатую и шестидесятую свою весну встречает с сердцебиением, всякий раз воспринимает как величайшую новость и прилет скворцов, и цветение земляники, и первые снежинки на подмороженных лесных тропках. Свою газету писатель не придумал. Ему ее подсказало живое чувство, глубокое и неизменное удивление перед многообразной жизнью природы, повторяющейся в круговороте времен года. А это чувство новизны и делает книгу Бианки такой доступной сознанию тех, кто только-только вступает в жизнь с неукротимым желанием всё увидеть, всё понять, всё проверить на собственном опыте. Действенному, а не созерцательному отношению к природе учит эта книга.

Мы умышленно так много говорим о книгах В. Бианки для маленьких, потому что «Нечаянные встречи» насквозь прописаны

той же страстью исследователя и следопыта. Только шире кругозор, сложнее и многообразнее проблемы, которые писатель-природовед, как бы подводя итог своему личному опыту, ставит перед молодыми натуралистами. Первый же в сборнике рассказ «Морской чертенок», не случайно выбранный автором как некое вступление, кончается так: «... И все равно, над морем — бездонное небо, а под ним — бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!

Человек в рассказах В. Бианки, повторяем, не созерцатель. Человек, который любит природу, умеет читать ее закрытые для непривычного глаза письмена, побеждает в самых трудных обстоятельствах. Вот заблудились охотники, по колена в воде бредущие по мелководному озеру Сарыкуль. На десятки километров тянутся тростниковые джунгли. Утонул компас. Погода облачная, по солнцу определить нельзя, — охотникам грозит смерть. Но охотники не теряются и по своим приметам узнают, в какой стороне берег. Вот двое горожан, очутившись в сибирских степях, решают сделать благое дело — перестрелять емуранок, грызунов, портящих колхозные посевы. Однако хитрые зверьки точно издеваются над неопытными охотниками, и плохо было бы хлебам, если бы не председатель колхоза. Умная женщина, она отлично знает повадки грызунов и находит неожиданный способ борьбы с ними.

И простая девушка-ойротка в рассказе «Она» по неуловимым, одной ей известным приметам предупреждает рассказчика о приближении беды — страшного урагана, мгновенно налетающего с горных хребтов. Предупреждает в неясных словах, однако с такой точностью, как этого не мог сделать даже ученый метеоролог, вооруженный специальными приборами. Это знание, опыт народа, рождаемый в постоянном общении с природой, — огромная сила, и он сам по себе еще нуждается в изучении.

В «Нечаянных встречах» говорится отчетливо: человек природе друг. Зоркий человеческий глаз, хозяйская его рука природу берегут, только всё злое и хищное истребляет хозяин земли — человек («Джульбарс», «Емуранки», «Как дяденька Волов искал волков»). И к каким печальным ошибкам иногда нас приводит наше невежество! В рассказе «Розовое и оливковое» мальчишки — разорители птичьих гнезд уничтожают потомство одного из самых прекрасных существ на земле — соловья. Гибнет лебедь, чудесная заповедная птица, бессмысленно подстреленная убийцей-браконьером, в нарушение нами же установленных законов об охране животного мира. Бианки не показывает в своем рас-

сказе этого преступного человека, он описывает только смерть лебедя, но сила рассказа в том гневе, в том презрении, которое направлено против людей уже не только невежественных, но хищных, эгоистичных, равнодушных и, стало быть, вредных для общества.

В сборнике есть раздел под особым заглавием «Рассказы о тишине». В одном из них В. Бианки вспоминает о своем детском впечатлении от тишины, которая, как это бывает, наступила к полдню на переломе знойного летнего дня. «Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось от земли до неба безмолвие» («Уммб»). Маленькому человеку тишина эта показалась таинственной; он ждал, что с минуты на минуту в ней что-то произойдет, и вот он услышал не то слово, не то вздох, донесшийся с моря: «Уммб!» Может быть, поэтическая сила «Рассказов о тишине» именно в том, что писатель, проживший большую жизнь, исключительно точно воскрешает свои первые впечатления от окружающего мира. Оттого-то окрашенные этим детским чувством, детской свежестью восприятия так глубоки, и по-настоящему поэтичны эти рассказы. «Уммб!» прозвучало с моря «великанское» таинственное слово, а разгадка пришла позже. И снова повторяет писатель: есть великая радость раскрытия рассеянных в природе тайн, и к самым заветным дверям ее найдет ключ пытливый человеческий разум — умеи только искать.

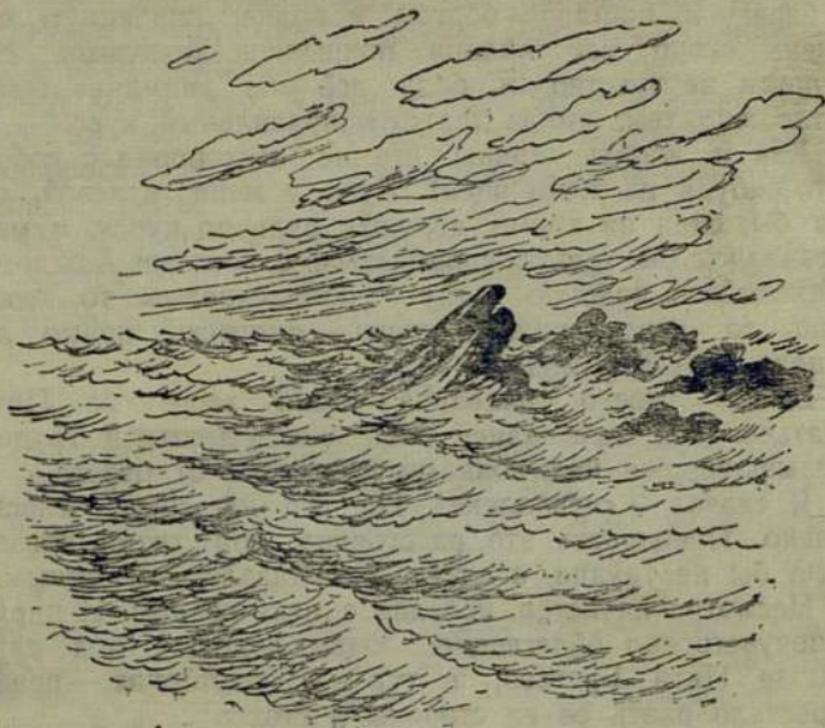
А чтобы искать и найти, надо очень любить, очень сильно чувствовать природу, именно как ее любят и чувствуют в детстве. Птичка-«неслышимка» поет маленькой внучке ученого-орнитолога, и напрасно дед смеется над внучкой — «неслышимка» существует! Из года в год ученый слышал ее голос на своей любимой опушке и не замечал певички, потому что притуплен был его слух, потому что ничего нового не ждал он найти возле себя, слишком убежденный в том, что все птички породы в этой местности им-то уж хорошо изучены. Большая мысль в этом коротком рассказе — большая правда.

Юным натуралистам, которым посвящена эта книга, да и не только натуралистам — всем школьникам с пытливым умом, писатель как бы дает завет: на всю жизнь сохранить этот молодой зоркий взгляд на мир, горячее сердце, способное вновь и вновь радоваться зеленому и прекрасному нашему миру, в который вступают они хозяевами.

Всеволод Воеводин.

ВСТУПЛЕНИЕ





МОРСКОЙ ЧЕРТЕНОК

1. В БОРЬБЕ СО СТИХИЯМИ

Сам теперь не пойму, как я отважился на эту отчаянную поездку. Один!

Море было грозно, в дали по нему ходили злые барашки. Едва только я отшвартовался, снял конец с прикола, — волны кинули лодку и, ударив ее бортом о пристань, погнали к берегу. С большим трудом я успел поставить в уключины весла и направить лодку носом в море. И тут началась борьба.

Две стихии — море и ветер, казалось, сговорились, чтобы не дать мне достигнуть цели и погубить меня. Я изо всех сил наваливался на весла, волны рвали их у меня из рук, а ветер, накидываясь то с одной, то с другой стороны, старался повернуть лодку назад

к берегу и, поставив бортом к волне, опрокинуть ее. Очень скоро мои ладони покрылись мозолями. Но я почти не чувствовал боли: всё мое внимание было поглощено тем, чтобы держать правильный курс.

Как я жалел теперь, что не подговорил с собой кого-нибудь из товарищей! Будь у меня рулевой, он мог бы, сидя на корме, держать руль по курсу, и мне оставалось бы только справляться с веслами. А одному приходилось каждую минуту оборачиваться то через одно, то через другое плечо — смотреть, прямо ли к цели идет моя лодка.

Целью моего плавания были запретные Пять Братьев. Так назывались пять скал, дружной грудой возвышавшиеся над волнами невдалеке от берега.

Я сказал — «невдалеке». Но всё на свете относительно. Преодолеть это расстояние при тихой погоде было бы не трудно, а сейчас оно казалось огромным.

Несмотря на ветер, пот лил с меня градом. И вдруг я почувствовал облегчение: лодка подошла под прикрытие Пяти Братьев, и тут — в заветёрках — сразу перестало рвать ее из стороны в сторону.

Однако пристать к скалам с береговой стороны не было никакой возможности. Надо обогнуть их с запада: войти в проход между двумя старшими Братями — самыми большими из камней. Это я знал, потому что мне уже дважды пришлось побывать на Пяти Братях. Я знал, что ворота — очень опасное место: прибор там бьет с удесятеренной силой и может в щепки разбить лодку, бросив ее на камни.

Придержав лодку на месте, я немного отдохнул: надо было набраться сил для последнего, самого рискованного перехода.

Я оглядел берег. На нем никого не было. Да и кто будет выходить в море в такую рань и в такой ветер?

Наконец я собрался с духом и направил лодку в каменные ворота.

Сильное течение разом загородило мне путь. Мне показалось даже, что лодку тащит назад.

Оборачиваться уже не было времени, но, скосив глаза, я по камню увидел, что потихоньку ползу вперед.

Это придало мне силы. Я налег на весла и как-то совсем неожиданно легко очутился по другую сторону каменных ворот.

Резко повернув лодку, я без приключений ввел ее в узкую гавань между двумя Братями — одним из старших и младшим.

Тут было тихо. Я кинул весла на дно лодки, перешел на нос, взял кошку — четырехлапый якорь — и забросил ее на старшего Брата. Подергал — зацепилась крепко.

Опасный переход кончен.

Теперь можно собраться с мыслями и приниматься за дело.

2. ИЗ ТЕМНОЙ ПУЧИНЫ

Отдохнув, я разложил в лодке все свои запасы и нацепил на крючок целый клубок червей. Мелкая добыча, что берет на одного червя, меня не интересовала: не за тем я ехал сюда, рискуя жизнью.

Я забросил удочку. Поплавок из сухой камышины вынырнул и лег спокойно. Тогда всё исчезло — берег, небо, лодка; осталась только эта камышинка да кусочек моря, на котором она покоилась. Я смотрел на нее, не отрывая глаз.

Смотрел и думал о том, что сегодня ожидает меня необыкновенная добыча. Ведь не на простую ловлю я выехал, не с берега, в мелкую воду, закинул удочку. Я — в море, на скалах. Кто знает, какая тут глубина? И что таит в себе пучина, какие живут в ней огромные, невиданные рыбы? Может быть, сегодня ждет меня счастье, и я вытащу какую-нибудь рыбку, у которой даже названия нет, потому что никто еще не ловил таких. Может быть, тут, под скалами, стоит сейчас целая стая таких рыб, и как начнут они клевать одна за другой — только успевай вытаскивать! Я полную лодку набыю добычей.

Поплавок попрежнему спокойно лежал на воде.

Следуя мысленно за лесой, ушедшей в темную воду, я думал, какой невообразимой глубины бывают моря и океаны. Целые километры воды под тобой. Незвезданная глубина!

И мне представился крошечный-крошечный человек на скорлупке-лодочке. Под ним бездна — пучина морская. И над ним бездна — воздушный океан, межзвездные неизмеримые пространства...

Оторвав на минутку глаза от поплавок, я взглянул вверх и между разорванными ветром тучами увидел бездонное синее небо. «Ведь будет такое время, — подумалось мне, — когда человек научится спускаться в глубь океанов, до самого дна, и подниматься в высь — до луны, до планет, может быть, до самых далеких звезд».

Я опять перевел глаза на поплавок и не мог дать себе ясного отчета: действительно он дрогнул, или это мне только показалось?

Мгновенно исчезли бездны — вверху и внизу: глаза мои впились в поплавок.

Он спокойно лежал на воде.

Я выждал несколько минут. Потом повел его удочкой — подальше от скалы: может быть, там клюнет?

Вдруг поплавок встал — и вмиг исчез под водой.

Какая-то неведомая сила увлекла его в темную бездну, натянула лесу, согнула конец моего удилища.

Но другой конец я крепко держал в руках. Вскочив на ноги, я порывистым движением дернул удочку.

Руки мои почувствовали сопротивление: кто-то там, в глубине, упирался.

Я потянул сильнее. Руки у меня дрожали.

Тот — внизу — немножко поддался.

Я тянул и тянул.

Из воды показалась камышинка-поплавок.

Поплавок, стоймя, стал подвигаться ко мне.

Но вдруг тот, под водой, стал — и ни с места.

Я рванул. Он поддался, но сейчас же утянул лесу назад. Я рванул изо всей силы.

На конце лесы вылетела из моря рыба, не рыба — настоящее чудовище: всё в колочках; голая голова с разинутой зубастой пастью, за ней растопыренные когтистые крылья; спины нет, а сразу хвост, тоже весь в шипах.

Блеснув на солнце темными пятнами, чудовище вместе с лесой опустилось на дно лодки.

Я с торжеством посмотрел на берег: моя взяла!

И хорошо сделал, что посмотрел: оттуда, с берега, грозила мне такая опасность, что я разом забыл даже о своей необычайной добыче.

На берегу стеной стоял сосновый лес. В полкилометре справа он кончался. За ним виднелась дача. От

дачи к лесу шел человек в костюме из желтовато-коричневой шерсти, с ружьем за плечами.

Сейчас он войдет в лес. Оттуда ему не будет видно меня. Но если он выйдет из лесу против Пяти Братьев раньше, чем я окажусь на берегу, он сразу заметит меня в море. Тогда я пропал.

Каждая минута была дорога. Не обращая внимания на чудовище, отчаянно бившееся на дне лодки, я прыгнул с борта на камень, отцепил кошку, махнул с ней назад в лодку и сел за весла.

Грести к берегу было легко: ветер дул в спину, волны сами несли меня к цели.

В несколько минут я достиг пристани и поставил лодку на прикол.

Схватив удочку, не успев даже отцепить болтающуюся на конце ее добычу, я бегом по мосткам кинулся к берегу.

3. МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Только я соскочил с мостков на песок, из лесу вышел человек с ружьем в верблюжьем костюме. Это был мой отец.

Мой отец был строгий человек. Узнай он, что я ездил на Пять Братьев, да еще в такой ветер, не бывать бы мне больше в лодке до следующего года.

Ведь мне было всего десять лет, и отец строго запретил мне одному, без взрослых, брать лодку.

Но я был на берегу. Отец, наверно, подумает, что я удил с мостков. В этот день мне везло. Солгать отцу я не мог бы. Но, действуя по вдохновению, я избежал прямого вопроса и, можно сказать, выскочил сухим из воды.

— Папа! — закричал я вместо приветствия. — Я поймал морского чорта!

— Ну, что за пустяки! — отозвался отец, с любопытством однако взглянув на мою добычу, всё еще бившуюся на конце удочки. Он был большой знаток природы и с великой страстью изучал ее.

— А любопытно, — прибавил он, перехватив у меня лесу. — Это бычок-подкаменщик. Удивительная мелководная рыбка. Прячется под камнями, а проплывет

кто-нибудь мимо — рыбка ли, водяная мокрица, жучья личинка, — стрелой вылетит и в пасть. Обжора страшный!

Я слушал и ликовал: гроза миновала, отец не видел меня на Пяти Братях! Когда-нибудь, когда я буду большой, я сознаюсь ему в своем проступке. А пока — я герой.

И что ж такого, что это не морской чорт, а всего чертёнок, бычок какой-то, рыбка, умещающаяся на моей ладони? Сам отец говорит, что это — удивительная рыба.

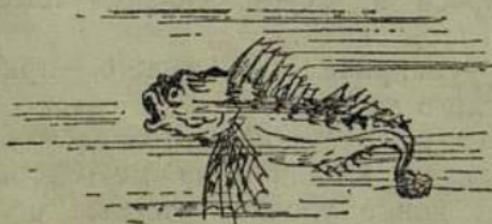
И что ж такого, что Пять Братьев совсем не скалы, а просто пять камней в каких-нибудь ста метрах от берега? И что там не пучина морская, а совсем мелко?

Ведь я-то вправду рисковал жизнью, поехав туда в лодке один, в такой ветер.

И я вправду поймал там замечательное маленькое чудовище — всё из колючих крыльев-плавников да из хвоста с шипами.

Отец пойдет сейчас дальше — он вышел на охоту, а я побегу домой и буду хвастать своей необычайной добычей матери и всем своим товарищам. И все будут ахать и удивляться. А кой-кому из товарищей я даже шепну на ушко, как я этого морского чорта добыл с риском для жизни.

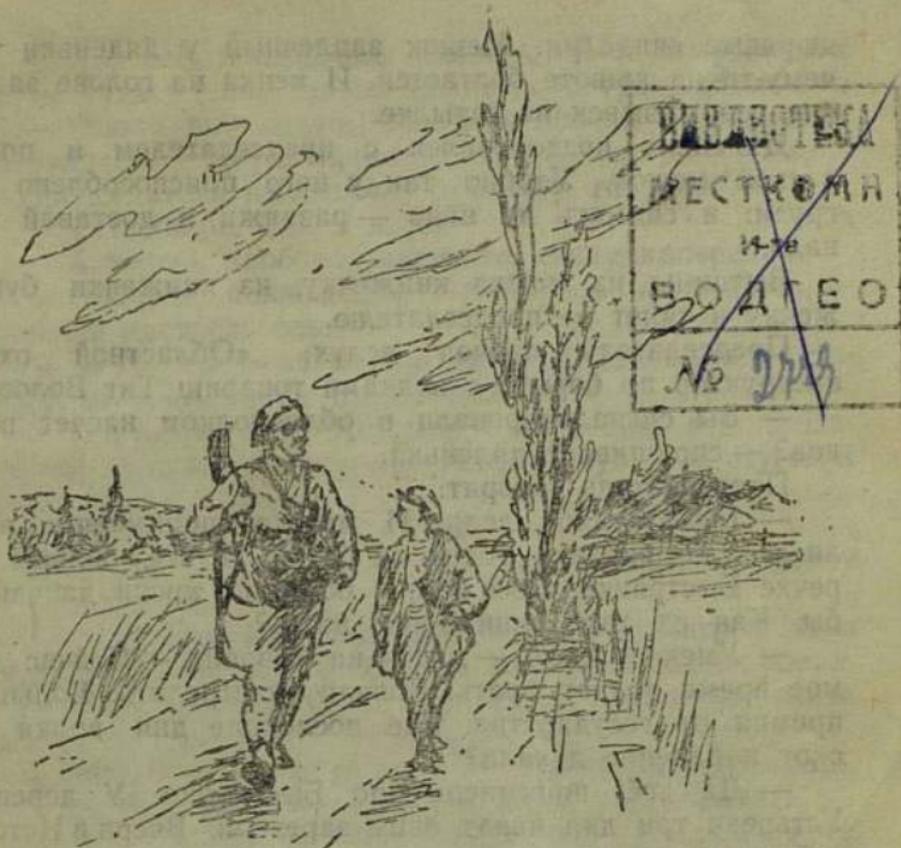
И всё равно, над морем — бездонное небо, а под ним — бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!





НЕХОЖЕННЫМИ ТРОПАМИ

MEMORANDUM FOR THE RECORD



КАК ДЯДЕНЬКА ВОЛОВ ИСКАЛ ВОЛКОВ

(Рассказ школьника)

Постойте, когда это было? Да как раз в конце четвертой четверти, перед летними каникулами. Меня учительница послала в сельсовет: какие-то сведения отнести председателю.

Я отнес и уже хотел назад идти — вдруг входит в сельсовет старичок в темных очках. Несуразный какой-то: всё у него шиворот-навыворот. На плече двухствольное ружье. Только я никогда такого не видел: комолое, без курков. И повешено не так, как наши охотники носят: дулом вверх, прикладом вниз, а верху ногами — вниз дулом. Вместо охотничьих сапог

дырявые сандалии. Мешок заплечный у дяденьки почему-то на животе болтается. И кепка на голове задом наперед, козырек на затылке.

Дяденька поздоровался с председателем и полез в свой мешок. Удобно так у него приспособлено на груди: и снимать не надо — развяжи и доставай что надо.

Вытащил из мешка книжечку, из книжечки бумажечку и тянет ее председателю.

Председатель прочел вслух: «Областной охотинструктор по борьбе с волками товарищ Тит Волков».

— Вы сигнализировали в облисполком насчет волков? — спрашивает дяденька.

Председатель говорит:

— Было такое дело. И откуда, понимаешь, взялись: уже сколько годов не было. И всё больше по речке Быстрянке. Леса у нас большие, крепи да чащобы. Как их там, понимаешь, взять?

— Умеючи надо, — дяденька говорит. — Сейчас самое время волчат брать. Волчицу застрелить. Большая премия от государства. Где последние дни волки на скот нападение делали?

— Да всё, понимаешь, по Быстрянке. У деревни Устьека три дня назад овцу зарезали. Вчера в Истоке собаку утащили.

Дяденька подошел к стене: там план всей нашей земли висит, всех колхозов — где поля, где лес, где деревни.

Я думал, у него очки, чтобы лучше видеть. А он их на кончик носа сдвинул, сам прищурился и носом по карте водит.

— Вот, — говорит, — Исток и вот Устьека. А в «Красном пахаре» не видали волков?

— В колхозе «Красный пахарь» их нет.

— Дёбре, — обрадовался дяденька. — Так я оттуда и начну. Вот с деревни Луговой.

— Луговая, понимаешь, как раз Краснопахарьского района. На что тебе туда?

— Как на что? — рассердился дяденька. — Ясно, кажется, сказано: «Борьба с волками». Не на дачу к вам приехал. Мне время дорого. Не в одном вашем районе волки появились. Война была. Волки войну любят, — вон их сколько развелось всюду.

— Это всё, понимаешь, понятно. Я к тому только, что не туда идешь, где их найдешь, а туда, где их нет.

— Плохо вы, видно, мое имя прочли и фамилию. Потрудитесь еще раз прочесть.

Председатель взглянул в бумажку, говорит:

— Тит Волов. Так и есть.

— А теперь наоборот прочтите, сзади наперед.

— Обратно, понимаешь, Тит Волов получается, — удивился председатель.

— То-то вот, — загадочно говорит дяденька. — Наоборот-то часто даже лучше выходит.

— Ну, дело твое, товарищ Волов. Вон иди с Ванюшкой, — председатель на меня кивнул. — С Луговой парнишка.

Старичок попрощался с ним, и мы пошли.

Я перво боялся его: думал, он сердитый. Молчу иду. И он молчит.

Прошли околицу. Дяденька на небо посмотрел. Небо всё в тучах. Он очки снял и на ходу в мешок их убрал.

— Очки, — говорит, — у меня от солнца: глаза берегу.

Гляжу на него: враз лицо доброе-доброе сделалось. И начал тут дяденька всякие истории рассказывать.

Перво всё про волков. Какой они ужасный вред приносят колхозам и государству. Что ни год, говорит, в нашей стране миллион голов скота через них не досчитывают — на двадцать миллионов рублей убытка. А что на людей волки бросаются — это, говорит, больше бешёные. Ну, раненый волк если, тоже может кинуться. А так — нет. Здоровый волк человека боится. Со страху про него и люди сказки рассказывают. Куда, говорит, не приедешь, всюду один рассказ:

— У нас в колхозе, правда, случаев не было. А вот из дальней деревни шла зимой учительница в город, в район, так ее — это уж верно — волки съели. Утром едут колхозники, — глядь — на дороге одни каблучки лежат да косыночка.

Смешно мне стало: ведь и у нас в деревне точка-в-точку такие страхи рассказывали!

А старичок дальше да дальше: про всяких разных зверей, про охоту на них. Как охотники врут, — такие историйки рассказал — животики надорвешь!

Я и не заметил, как мы к нашей Луговой подошли.

— Ну, хозяин, — говорит старичок, —пустишь к себе ночевать?

Я скорей к мамке, всё ей про него рассказал. Пустила она и крынку молока поставила.

Утром дяденька говорит:

— Веди, — говорит, — меня, Ванюша, к вашим пастухам. Пастухи всегда всё про волков знают.

Я повел его вдоль Быстрянки, потом по ручью в лес: там у нас весной пастьба.

Дед Макар, пастух наш, на пеньке сидел, грелся на солнышке. Федька, подпасок, за коровами, которые от стада отбились, бегал с кнутом, а как нас приметил — сейчас пришел.

Дед Макар — он тугой на ухо — долго не мог в толк взять, про чего это у него дяденька-охотник спрашивает. А как разобрал, только головой затряс.

— И-и, милый, — говорит, — какие те волки! Волки у нас еще с той ерьманской войны совсем повывелись, бог миловал. Ты в Исток иди, иди в Устьеку: там, бают, объявились.

А Федька-подпасок говорит:

— А я два раз видел. Один раз утром, другой раз вечером, как стадо домой гнать. Эвон там, эвон за ручьем-то, на горушке. Только это не волк был — собака. Паршивая такая — шерсть клочьями лезет. Я на нее как щелкнул кнутом, она — порск! Смехи! Я сам перво думал — волк. А она, вишь, собака какая трусливая; от хозяина, верно, убежала.

Дяденька засмеялся.

— А скажи, герой, — говорит, — уши у нее торчком, хвост крючком?

— Уши торчком, — Федька говорит, — а хвост поленом: между ног со страху поджала.

— Утром куда же эта собачка шла?

— Туды вон, — Федька махнул кнутовищем по ручью в лес. — А вечером оттуда.

— Ну, значит, тут по ручью и надо искать ее. Тут у нее и щенята.

— Дак это никак твоя собачка, дяденька? — догадался Федька. — Щениться, значит, ушла. Однако, чай,

там нипочем ее не найти: болото здесь в лесу, чаща такая — всё равно как стена.

А дяденька всё посмеивается:

— Ошибся, милоч: не моя это собачка. Собачка эта вовсе бесхозная. А вот скоро, надеюсь, будет моя. Пойду ее искать.

Сам мешок с себя снял, на спину перевесил, штаны закатал выше колен, взял ружье в руки и прямо в ручей да в лес.

Я только спросить у него успел:

— А что же, дяденька, охотничьи сапоги себе не заведете? В сапогах способнее.

— А на что они летом-то! — ответил. — Вода теплая. А в сапоги-заколенники попадет вода, потом мучайся с ними. Летом, брат, охотнику обувь нужна, как решето: войдет вода и выйдет. Беги, Ванюша, в школу — опоздаешь. Вечером тебе щеночка принесу.

Целый день я всё про этого щеночка думал: неужто волчонка принесет?

Долгий тот день показался мне. Уж солнце зашло, смеркаться стало; тут только пришел дяденька.

— Обманул, — говорит, — я тебя, Ваня: нет щеночка.

И замолчал. Так, молча, поужинал и спать лег.

Я вижу: расстроенный, и уж спрашивать у него ни о чем не стал.

На другое утро он ушел до света, я еще спал. И к ночи вернулся — простой опять. И уж о щеночке ни слова.

Задумчивый. Что-то под нос себе бормочет. Некоторые слова я разобрал:

— Ошибка, ошибка... Всё может быть... Экая хитрая bestия!..

Стали спать укладываться. Вдруг он говорит:

— Ванюшка! Никак завтра воскресенье?

— Воскресенье и есть, — говорю.

— И в школу тебе не идти?

— А как же: выходной ведь.

— Так слушай, милоч! Помогли мне. Пойдем со мной завтра с утра. А то там, понимаешь, такой чортов переплет в ивняке-то — никак мне не пробиться. А ты ростом невелик — пролезешь.

Хорошо — мамки в избе не было. Сейчас бы заругалась:

— Что, мол, ребятёнка на какое дело подбиваете! Разорвут его волки, не пущу!

Мы с ней ведь догадывались, что Федькина-то собачка волк была.

Я и говорю ему:

— Только мамке не сказывайте. Я будто за пёстышами пойду с ребятами.

— А что это — пёстыши? — спрашивает.

— Хвоиц по-ученому. На ржаном поле его много. Головки больно вкусные.

— Ладно, — говорит, — помолчу. Только ты не бойся: опасности никакой, и ружье у меня.

— Я, мол, не девчонка.

Утром я нарочно первый ушел. Круг дал — и к пастухам. Туда и дяденька подошел. Федька, хоть ему и невдомек, кого по правде мы разыскиваем, тоже с нами увязался.

Совсем немного мы отошли по ручью, — покрыл нас с боков и сверху густой ивняк. Как в нору попали.

— Ну вот, — говорит дяденька. — Отсюда начнем. Лезь, Ванюшка, на правый берег. А ты, Федя, на левый. Ищите щенят. Найдете — меня крикните. Я вперед пройду, там не так крепко. Ближе буду, услышу. А не найдем ничего — опять здесь в полдень сойдемся.

Полезли мы с Федькой: он в одну сторону, я — в другую. Лист на кустах еще небольшой: видно все-таки впереди, особенно понизу. Только ничего такого неприметно, никаких волчьих следов или еще там чего.

Ну, трудно лазать: кочки, между ними вода, как чай густой, коричневая. Ветки по лицу то и дело хлещут. Где тут волкам жить! Утку одну видел да маленьких каких-то птешек болотных. Трещат: верно, незда у них тут на кустах.

Дальше суше стало. Тут, слышу, сороки стрекочут. Увидели меня — еще пуще закричали. Да таково их много — не меньше десятка собралось. И такая у них тут вонь — тошно даже. Ну вас, думаю. Совсем оглушили!

Устал я шибко. Хотел присесть — отдохнуть. Гляжу: солнце уже прямо над головой стоит, — полдень.

Я скорей назад.

На ручье уже дяденька и Федька меня ждут. Уж кричать меня хотели. Дяденька говорит:

— Мы с Федей ничего не нашли. Не заметил ли ты чего-нибудь?

— Никаких следов, — говорю. — И искать в этой стороне не стоит: там одни сороки, целая куча их, и запах там тоже нехороший — вонько пахнет.

А дяденька-то обрадовался.

— Да ну, — говорит, — неужели сороки? И духтя-желый? Веди меня скорей туда!

Трубку он курил — и трубки не докурил: выбил ее о приклад ружья, огонь в воду посыпался. А мне неохота опять в эту гущину лезть: весь обдерешься, и устал как собака.

И что, думаю, он все шиворот-навыворот делает. Придумали волков искать, где их никто и не видел! А теперь сорокам обрадовался. Сорока — птица осторожная: человек ли, зверь ли — сейчас затрещит и улетит.

Ну уж, думаю, все равно. Представлю его сорокам, а там недалеко пробраться по кустам до бора. Скажу — мне недосуг, сам бором — и домой.

Повел его. Федька не пошел: говорит, дед зару-гается, коровы разбредутся, — надо иттить.

Сороки на том же месте оказались. Как затрещат!

И вот поди же ты: всего мне было шагов с полсотни еще податься — и сам бы я нашел волчье логово!

Горушка там дальше, и в ней нора — совсем неглу-бокая, под корнями сосны. А по склонам всё кости бе-леют: птичьи, заячьи, овечьи, собачьи. От них и дух такой тяжелый.

Волчата лежали в норке клубком.

Дяденька развязал мешок и начал хватать щенят одного за другим за шиворот. Шесть штук их оказа-лось, шесть штук он поклат в мешок. Серенькие они, хвостик веревочкой, глаза еще только прорезались.

А я все больше по сторонам поглядывал: вдруг да вернутся волк и волчица? Жутко все-таки...

— Ну! — весело так дяденька говорит, — тут нам делать больше нечего.

— А волчицу хотели убить?



— Ни волка, ни волчицы мы с тобой не увидим, хоть они и рядом тут оба, в кустах сидят и нас слышат. Волчицу взять — это особое дело. Идем, идем, скорей, Ванюша.

За горушкой опять были кусты, но уже не так много. Скоро мы поднялись в гору, а там — чистый бор.

Тут дяденька остановился. Покрутил головой и говорит:

— Ну, нам с тобой сюда. Вот этой тропкой пойдём.

— Что вы, дяденька, — говорю. — Совсем наоборот: нам вон куда надо. Тут до деревни рукой подать.

А он так сердито на меня поглядел. Брови сдвинул.

— Ты, — говорит, — меня не учи, мальчик. Ученого учить — что мертвого лечить. Делай, что я тебе говорю, и помалкивай. Не все против ветра ходить: иной раз и по ветру надо.

Зло меня взяло: опять он наоборот делает! Вель этой тропой, что он хочет, половину бора обогнем, а потом назад полями шлепай — по жаре-то!

Все-таки послушаться его не посмел.

Иду вперед. Он — следом.

Скоро вышли мы тропкой на поляну, перешли ее. Тут он сзади тихо так говорит мне:

— Иди, не оборачивайся, не останавливайся. И вот тебе это, не тяжело будет?

Сам кладет мне на плечо мешок с волчатами. Перекинул мне ремни на грудь.

— Иди, — шепчет, — иди потихоньку. Не останавливайся. Да смотри не оборачивайся, а то худо будет!

Здорово я тут струхнул. Ясно же: полоумный старик! Зачем он шепчет? Начто меня вперед посылает и оборачиваться не велит? Сейчас как даст из обоих стволов в спину!..

Похолодел я весь. Иду, оглянуться не смею. И его за собой не слышу.

А тропка, как нарочно, прямая-прямая! Хоть бы какой поворот. Я бы завернул — и со всех ног!

Прямо ноги у меня заплетаются со страху. В голове мутится.

Не знаю, сколько и прошел так...

Вдруг — ббах! — сзади.

Я как подпрыгну! Мешок бросил — и дёру!

Слышу, кричит сзади: «Куда ты, куда! Стой!»

Я обернулся. Смотрю: он далеко, у той поляны. И что-то с земли поднимает.

Поднял — волк!

Тут я и страх забыл. Побежал скорей назад. Мешок подобрал — и к нему.

А он уже идет навстречу, — мертвый волк на плече. Передние лапы дяденька на грудь себе перекинул; волчий хвост по земле волочится.

— Что ты, дурашка! — говорит. — Чего напугался? Это волчица. Я уж знал: она за нами следом крадется. Смотрит, куда ее волчат несем.

Потом ночью пришла бы к избе: нельзя ли детей выручить? А я, видишь, тебя с мешком вперед и послал, а сам — раз! — и за деревья. Минуты не прошло, — она бежит — нос к земле. Следы чует, а меня — нет; я потому этой тропкой пошел, что как раз нам тут ветер в спину: ей нашего запаха не слышно. Она и набежала на меня.

Вот, значит, до чего дяденька хитрый: все рассчитал. Погом и говорит мне:

— Запомни: умнейший зверь — волк. Его прямо понимать никак нельзя.

Так и знай: где он весной скотинку режет, собак гаскает, — там он не живет. Там его логова не ищи. Это самец. Волчица от малых волчат не отойдет.

А волк широко ходит, охотится, добычу носит волчице и детям. У логова они себя не обнаруживают, шито крыто живут. Рядом будет ста-



до ходить — не тронут. Тебе будут говорить: «Тут ищи!» А ты наоборот делай — и найдешь.

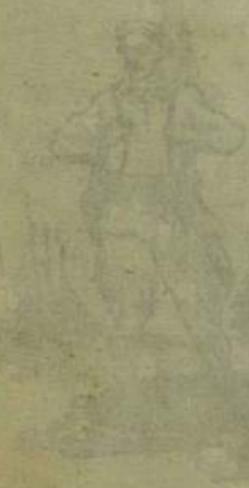
Потом говорит:

— Ты думал, сороки зверя боятся: где сороки, там волка нет. Как раз наоборот. От волчьих обедов остатки остаются — мяса кусочки на костях. Вот сороки и собираются. Они первые волка выдают. В лесу, брат, каждый след надо уметь читать, как мою фамилию: и спереди назад, и сзади наперед. Так-то, брат Ванюшка!

Хотел он мне волчонка оставить на воспитание, — говорит, как собака будет, — да мамка не позволила. Такая меня досада взяла!

А Федьке-подпаску еще досадней было, когда он увидел волчат и убитую волчицу и узнал, какие звери рядом с ним жили.

Выходит, у нас с ним тоже немножко шиворот-навыворот получилось. Да только не так ладно, как у дяденьки Тита Волова.





РЯБЧИК

С профессором Виктором Степановичем — знаменитым охотником на рябчиков — познакомился я в Свердловске. Мы вместе отправились на охоту. С нами был еще племянник профессора — Арсений юноша лет двадцати.

Дичи нашли много. Нам захотелось прожить в лесу несколько суток. Вопрос был в ночевке: палатки с собой у нас не было.

Виктор Степанович сказал:

— Есть тут недалеко охотничья избушка. На Студёном ключе. Чего лучше?

Мы запрягли лошадь. На Студёный ключ приехали уже в полной темноте.

Избушку отыскивали с трудом: она была мала, мала до смешного. Ее крыша еле доходила мне до плеч. Окон и трубы совсем не было. Дверь была ростом с окно.

Пока Арсений возился с лошадью, ходил за водой, мы с Виктором Степановичем собрали дров и разложили огонь в чувале. Чувал похож был на первобытный камин: камни навалены без особого порядка; над ними в крыше зияла дыра.

Дым сейчас же наполнил избушку. Запершило в горле, защищало глаза. Пришлось лечь плашмя на нары. Всего и было в избушке — чувал да нары от стенки к стенке, над самой землей.

Прошло минут десять, и огонь прогрел камни. Дым потянуло вверх.

Через час, плотно поужинав похлебкой из дичи и напившись чая, мы легли спать. Уютно потрескивал огонь в чувале, за стенкой спокойно позвякивал колоколец стреноженной лошади. В избушке было тепло, даже жарко.

Я проснулся от тишины. Мороз. Темнота. И какое-то смутное беспокойство: слишком тихо.

Огонь потух. Сквозь черную дыру в крыше с черного неба пристально смотрят звезды. Холодные звезды. Была глубокая осень. Последние листья опали с деревьев.

Что же такое? Отчего так необычайно тихо? Чего нехватает?

Ах, да: лошадь, колоколец! Надо разжечь дрова в чувале, пойти взглянуть.

Рядом Виктор Степанович быстро поднялся и зашуршал одеждой.

В это время неожиданно раздалось громкое фырканье, потом тревожное ржанье, потом тяжелый поспешный топот стреноженной лошади.

Ясно было: животное чего-то напугалось. Ржанье и топот быстро приближались.

— Арсений, вставай! — крикнул Виктор Степанович.

Через полминуты мы все трое с ружьями выскочили из избушки.

Лошадь стояла у самых дверей. Ее большое тело чернело в темноте. Лошадь дрожала мелкой дрожью. Испуганно фыркала.

— Давайте разожжем огонь, — предложил я, — выясним, что ее напугало.

Арсений уже нырнул в избушку, разжег там огонь и скоро принес горящую головню.

Освещая землю, мы пошли по следам лошади. Следы подвели нас к самому берегу Студёного ключа и остановились. Тут было много натоптано.

Кругом — ни звука. Высокой горой чернел лес на том берегу ущельца.

Мы вернулись.

Решено было привязать лошадь вожжами у двери, а самим сидеть в избушке и поддерживать большой огонь — на страх врагам.

Так и сделали.

Не знаю, спал ли в эту ночь Виктор Степанович. Нас с Арсением он разбудил, когда солнце поднялось уже над деревьями.

— Ну? — спросили мы, вспомнив ночную тревогу.

Виктор Степанович посмотрел на нас уничтожающим взглядом и мрачно изрек:

— Босоногий старик!

Скоро мы своими глазами убедились, что он не ошибся: на том берегу ущельца виднелись следы босоногого старика, как зовут в Сибири Михайла Иваныча. Судя по размерам следов, это был старый, большой медведь.

Я предложил дойти его по следу.

— Ну уж нет, увольте, пожалуйста, — горячо запротестовал Виктор Степанович. — Стрелок я, сами знаете, — того... И ружье у меня... — этого. Да и велика ли честь попасть в такую тушу? Я уж лучше на вчерашнее место — за рябчиками.

Тут волей-неволей придется мне выдать одну тайну охотничьей жизни милейшего профессора. Да простит он мне это вынужденное разоблачение: раз уж начал я рассказывать быль, то рассказ велит мне там, где надо, говорить горькую правду.

Итак, среди охотничьих подвигов Виктора Степановича был один, о котором лучше было бы умолчать. Знали о нем только те, кто сами охотились с профессором.

Дело в том, что этот страстный и неутомимый охотник, этот безжалостный, бесчеловечный убийца рябчиков... в жизни своей еще ни одного рябчика не убил.

Спешу оговориться: Виктор Степанович убивал дичь, иногда помногу убивал. Бил и тетеревов, и глухарей, и куропаток, и уток. Раз при мне сильно ушиб даже небольшого оленя, которого неправильно называют у нас «дикой козой».

Не давались ему рябчики, одни только рябчики.

Придется уж мне досказать правду до конца, иначе читатели не охотники не поймут, почему рябчик был для профессора заколдованной птицей.

Рябчик — самая маленькая из наших лесных кур. А шумит он, взлетая с земли, больше здорового тетерева, почти как громадный глухарь. Стойки собаки рябчик не держит. С треском внезапно срывается у вас из-под ног выводок серых птиц, стремительно разлетается в разные стороны и исчезает мгновенно из глаз, словно никого и не было. Притаившегося на ветке рябчика различит только очень наметанный глаз.

Есть простая и легкая охота на рябчика: охота с пищиком.

Поднятый выводок рассеялся по ветвям, исчез у вас из глаз. Тогда вы спокойно садитесь на ближайший пенек и вынимаете из кармана пищик. У коварной свистульки тоненький голос рябушки-матери, сзывающей своих детей. Рябчата бегут на этот голос по земле, и их ничего не стоит застрелить.

Виктор Степанович такой способ охоты считал бесчестным. Пищика с собой никогда не носил.

Охотился Виктор Степанович так.

Бежит по лесу и ждет: вот вырвется из-под ног выводок рябчиков.

Вот вырвался. Виктор Степанович вздрогнул: как раз в эту-то минуту он немножко зазевался на волшебную красоту темнозеленой ели среди золотистых берез.

— Бамм! Бамм! — несутся выстрелы посередине между двух разлетающихся рябчиков.

В лёт рябчика бить — не глухаря. Маленький рябчик летит, как оперенная стрела.

Промазал Виктор Степанович.

Рябчики расселись по ветвям: надели шапки-невидимки. Ни одного не видать.

И опять бежит профессор по лесу, любителю на

бегу яростным пи-ром осенних красок, ждет рябчиков из-под ног.

И вдруг, как фонтан золотой, бьет из толпы темных елушек листва высокой пожелтевшей березы. И от восторга, от переполнившей душу радости громко затанул счастливый профессор на весь лес старую некрасовскую песню:

— В полном разгаре страда деревенская...

И как дошел до слов: «Многострадальная мать», — тут-то и взорвался выводок сереньких птиц. И, конечно, все уходит целы и невредимы под грохот профессорского самопала. Ружье у профессора и в самом деле «этого»: не из лучших.

Так с зари до зари бегают Виктор Степанович по лесу. Запоздалый вальдшнеп, неосмотрительный глухарь изредка попадают в охотничью сумку профессора, но стремительные рябчики, рябчики-невидимки — никогда.

Сразить на лету рябчика — заветная его мечта. Теперь понятно, почему Виктор Степанович предпочел снова погнаться за рябчиками, чем идти за медведем.

Арсению пришлось остаться близ избушки: у него не было пуль на медведя, да и лошадь опасно было оставлять без призора: медведь мог вернуться.

Пошел за медведем я один.

След повел меня в темную глубину леса, вернулся к Студёному ключу и опять углубился в чащу.

Долго шел след лесом, то пробираясь сквозь чащу, то перебегая поляны: босоногий старик, увидев огонь, бежал, как трусишка-заяц.

Промчался километра полтора и перешел на шаг. Прилег в густом ельнике под кокорой, вывороченной вихрем сосной. Выспался, наверно, как и мы с Арсением: земля была здорово прямата.



А выспавшись, начал шататься в поисках пищи. След стал заметно свежей.

На сырой, размягшей от дождей земле голые пятки его и большие когти отпечатались отлично. Я был уверен, что никуда ему от меня не деться, и уже потирал себе руки.

Однако задача оказалась не такой простой.

День уже клонился к вечеру, когда я стал наступать зверя. В свежине его следы рядом с большой кучей бурелома на глазах у меня струйками набегала из почвы вода. Несомненно, зверь прошел тут только что. Я взвел курки и стал продвигаться вперед осторожнее.

В обоих стволах моего ружья были вложены страшные пули жакан. Они свинцовым цветком на четыре части разворачиваются в теле жертвы.

Я останавливался, слушал. Нет, будто ничего. Только ветер шумит. Раз или два мне показалось, что я слышу треск в чаще. Я весь «влез» в глаза и уши: всё зависело от того, кто первый увидит врага. Если зверь на меня кинется из засады, я могу не успеть даже выстрелить.

Нервы мои напряглись до крайности, когда неожиданно след завернул назад.

Пристально вглядываясь в чашу, я шел вперед, медленно передвигая ноги.

Вдруг я остановился: мне показалось, что я уже был на этом месте.

В самом деле это было так: я стоял у большой кучи бурелома, где только что видел, как вода струйками наполняла свежий след медведя. Но теперь я стоял по другую сторону этой кучи.

Лёжка зверя была под кучей. Упругие кустики тихонько поднимались, расправляли ветви после отпущившего их, наконец, тяжелого тела.

Зверь лежал здесь, когда я проходил по ту сторону кучи по его следу. Сомнений не могло быть: он увидел меня, пропустил и пошел прочь. Я действительно слышал треск от его шагов.

Я кинулся напролом через чашу.

Выскочил из лесу к невысокому обрыву и остановился, запыхавшись.

Осмотрелся.

По дну оврага текла меленькая речка. На при-

брежной грязи — на этом и том берегу — явственно виднелись следы тяжелых звериных лап. И на том берегу высоко в гору поднималась хмурая темная тайга.

Зверь ушел от меня. Преследовать его не имело никакого смысла: он уже далеко. И не скоро теперь остановится. У меня едва оставалось время вернуться к своим до темноты.

Передохнув, я пошел назад, стараясь, где можно, сокращать свой путь.

Этой ночью в избушке у нас было много разговоров о медведях.

Я коротко рассказал о своей неудаче... После этого вспомнился мне разговор с одним моим ленинградским знакомым, человеком лысым, щуплым и очень книжным.

— Что вы чушь говорите о медведях! — набросился он раз на меня. — Человек с ружьем — и трусит итти на медведя! Да я ни в грош не ставлю такую безмозглую тушу. Дайте мне вот эту пукку — финский нож, и я выйду против самого страшного вашего медведя.

Я улыбнулся.

Он пришел в ярость.

— Человек! — кричал он, брызгая слюной. — Поймите вы: че-ло-век! Что перед ним зверь? Червяк, безмозглый пень. Я в тысячу раз умней его. Он ничего не может соображать, а я в любую минуту могу сообразить всё. И пусть я во сто раз слабей вашего хваленого медведя, я со своим соображением, с разумом всегда успею смекнуть, как его одурачить, в какой момент и куда ему всадить смертельный нож.

Я рассказал этот разговор товарищам.

— Хм! — произнес Арсений. — Вообще, конечно...

А Виктор Степанович, задумчиво вороша суком в чувале, мягко сказал:

— Хорошо бы, знаете, с этим вашим знакомым здесь поговорить, в уральской тайге. Я-то лично больше насчет рябчиков, я — не медвежатник.

Расспрашивать Виктора Степановича про его сегодняшние успехи на охоте я не стал: в связке дичи, висевшей на стенке, ни одного рябчика не было заметно.

Чтобы подальше увести его мысли от злополучных

рябчиков, я постарался удержать разговор на медведях.

— Мой лысый знакомый, конечно, ерунда, перочинная душа. А вот знаете, какие люди живут на Алтае? Они выходят на медведя действительно с одним ножом. Правда, если не считать деревянного шара со стальными крючьями. Но ведь это не оружие.

Такой человек смело подходит к медведю и — когда зверь становится на дыбы, чтобы обрушиться на охотника, — кидает ему свой деревянный шар со стальными крючьями.

Медведь — мастер ловить. Обеими передними лапами он схватывает летящий шар. И с такой силой, что стальные острия крючьев врезаются ему в ладони, как ножи. На стали — зазубрины, вроде как на крючке для ловли рыбы. Крючья назад из лапы не идут. Обе передние лапы зверя связаны, крепко соединены, и медведь, взревев от боли, падает на спину, чтобы помочь себе задними лапами.

Но едва лапа ударит по шару — и она на крюке. Последнюю, четвертую, лапу постигает та же участь.

Тогда медведь связан «по рукам и ногам». Охотник подходит к нему и прирезает ножом.

— Так-то так, — спокойно заметил Виктор Степанович. — Да только бывает и не так. Я вот знаю случай с нашим же уральским охотником, и отличным охотником.

Жил он тем летом в деревне Коноваловой, под Билимбаем. Пошел на речку Паламиху за глухарями. Еще парнишку деревенского с собой прихватил.

С берега поднялся глухарь. Охотник ударил. Не знаю, убил ли он глухаря, только дробь-то обсыпала кусты на обрыве. А в кустах сидел медведь. Дробь и угодила ему в зад.

Медведь пришел в ярость, скатился с обрыва — и на охотника. Тот не растерялся и второй заряд послал в зверя, с расчетом, чтобы глаза ему вышибить. И вышиб оба глаза, да немножко высоко взял: носа-то не задел.

Как полагается, взревел медведь, упал. Катается и глаза себе лапами протирает.

Охотник крикнул мальчишке, чтобы спасался. А тот давно уже на дереве сидит.

Полез и охотник на другое дерево. Ружье ему мешало. Он бросил ружье.

Медведь тем временем поднялся и вслепую — одним чутьем — пошел по следу. Учужал охотника на дереве, стащил его и задавил.

— Медведь редко бросается на людей, — вставил Арсений. — Даже раненый. Вот медведицу с медвежатами я не очень желал бы встретить.

Тут мне припомнился случай, рассказанный мне моим покойным другом.

Друг мой — революционер, погибший в гражданскую войну от рук белогвардейцев, — был человек железного характера, железной воли. Как-то я восторженно похвалил эту черту в нем.

Он усмехнулся.

— Брось, — сказал, махнув рукой. — Такая ли воля бывает.

В девятьсот тринадцатом пришлось мне бежать от царских шпигов в уральские леса. Грозил виселица.

Товарищ со мной был, тоже нелегальный.

Жили мы в пещере, как звери, питались ягодой и чем придется.

Раз пошел мой товарищ — звали его Викентий — в лес по малину, а я остался в пещере, сапоги починять.

Смотрю, что-то долго нет Викентия.

Вышел я, стал кликать. Не отвечает.

Встревожился я: мало ли что может быть в лесу, без оружия он ушел. Зверь может подмять, урядник мог на след наш напасть, захватить.

Хотел уж итти разыскивать. А он тут и идет. Бледный, вижу, как мертвец, и еле передвигает ноги. Руки свои перед собой несет, как вещь.

Я к нему. И вижу: на руках голое мясо, кожа спущена, свисает с пальцев ключьями.

Кинулся я к нему, спрашиваю: «Что, что с тобой?»

Он ничего не сказал, упал мне на руки в обмороке.

Уложил я его, кожу натянул на руки, перевязал, как умел.

Через час очнулся он. Рассказал, как было дело.

Близ маличника наткнулся он на медведицу с медвежатами. Медвежатки глупые, несмыслёныши: подбежали к нему, давай грать. А медведица подлетела, рывкнула, а ударить боится: своих же детей зашибет.



Викентий стоит, не шелохнется. Медвежатки ему руки лижут. Наверно, думали — материнскую грудь сосут. И не маленькие уж: месяцев пяти. На языке наждак будто. Больно рукам. А оттолкнуть нельзя; так рассудил: пусть лучше больно, чем закричать или бежать — разом медведица кончит. А медвежата, может, и останутся.

Стоит Викентий. Не пикнет.

И спустили ему медвежата кожу с рук, как перчатки стянули.

И убежали, увела их мать. Викентий жив остался.

Так вот это — воля, характер. Я бы не стерпел, думаю, закричал бы.

— Да уж, — позевнув, сказал Виктор Степанович, — хуже нет — медведицу с медвежатами повстречать. Я бы убежал. А вот рябчика я завтра непременно убью: способ такой придумал. Как поднимется выводок, я за одним следить буду. И уж я его, шельму, угляжу, куда он сядет.

На этом мы и заснули.

В тот раз больше ничего особенного не случилось на Студёном ключе. Я не нашел медведя. Виктору Степановичу так и не удалось добыть рябчика. Вернувшись мы в Свердловск и скоро расстались: я уехал домой в Ленинград.

И вот вчера, через год после описанных событий, получаю вдруг письмо с Урала.

И не раз кровью обливалось мое сердце при чтении этого письма.

Вот что я из него узнал.

Этой осенью профессор снова решил попытать счастья в лесах на Студёном ключе.

С ним поехал Арсений, а меня заменил брат Виктора Степановича, доктор и тоже охотник.

Ночевали в той же лесной избушке, что и мы.

Виктору Степановичу долго не везло: всё не мог поднять ни одного выводка рябчиков, бегал по лесу без выстрела.

В одном месте заметил медвежий след, и не очень старый. На всякий случай вложил в левый ствол разрывную пулю жакан, а в правом оставил мелкую дробь — на рябчиков. И, конечно, через минуту забыл про медведя: рябчики увлекали его куда больше.

Забрался в чащу, выбрался из неё и увидел перед собой громадный ствол лежащего на земле дерева.

Подумал: «Под ним, наверно, сидят рябчики. Вот непременно сидят».

И осторожно, стараясь не шуметь, взобрался на колодину.

Первое, что он увидел, был медвежонок. Рядом поднялся другой. Оба встали на дыбашки.

«Медведица?» — успел только подумать Виктор Степанович и тут же её увидел: она мирно спала на разрытом муравейнике под колодой — огромная, бурая.

Виктор Степанович сообразил, что отступление для него невозможно: сзади чаща.

Один из медвежат тоненько рявкнул.

Медведица мгновенно поднялась, повернулась...

Отяжелевшей рукой, ничего больше не соображая, Виктор Степанович выстрелил ей в грудь почти в упор сразу из правого и левого ствола.

Что-то громадное, жаркое, громко ревущее ударило его в грудь — и всё.

Доктор, брат Виктора Степановича, услышал оглушительное близкое «тара-рах!» Крикнул брата раз и два. В другой стороне откликнулся Арсений. А Виктор Степанович не отозвался.

Доктор встревожился, кинулся через ельник туда, где были выстрелы.

Страшная картина внезапно открылась ему: в двух шагах — громадная колодина и на ней — повисший во весь рост медведь.

В один миг доктор прикинул в мыслях: «Виктор под ним... стрелять невозможно».

Он выхватил охотничий нож, прыгнул на медведя и всадил ему нож под лопатку.

Медведь не шевельнулся.

Доктор отпрянул, обезумевшими глазами уставился на зверя.

У медведя были вышиблены оба глаза и напроочь снесен нос. В груди, рядом с застрявшим в ране ножом, зияла черная от крови рана.

Доктор понял, что он вонзил свой нож в мертвого уже зверя.

«Где же Виктор?»

Виктора Степановича не было.

Вдруг острые когти резнули ногу доктора сквозь толстые брюки. Он обернулся.

Порядочного роста медвежонок опирался об его ногу. Доктор выхватил нож из мертвой медведицы и с размаху ударил им медвежонок.

Медвежонок упал.

— Виктор!.. Витя! — закричал доктор.

В ответ ему прогремел выстрел, потом другой.

— Сюда, сюда! — крикнул доктор.

Из-за деревьев выскочил Арсений с дымящимся ружьем. Юноша волок за собой убитого медвежонок.

— Виктор убит... Пропал! — в неистовстве закричал доктор и бросился через колодину к племяннику.

Подожвы скользнули по гладкому стволу, и доктор ухнул в яму.

Падение не оглушило его: в яме была мягкая гниль и густой папоротник. Доктор нащупал под рукой что-то твердое, теплое.

Кость... нога!

Он быстро раздвинул папоротник: на дне ямы лежал Виктор Степанович. Всё лицо и вся грудь его были залиты кровью.

Доктор приник ухом к сердцу.

— Жив! Арсений, беги!

Вдвоем они с трудом выволокли из ямы отяжелевшее тело Виктора Степановича.

Арсений сбегал на Студёный ключ. В кожаной шапке принёс воды.

Наконец Виктор Степанович глубоко вздохнул и открыл глаза.

— Долго же я спал, — сказал он, — совсем как в сказке. — И, вдруг забеспокоившись, спросил: — Какой час? Пора, а то здесь ночевать придется.

Он ничего не помнил: ни как увидел медвежат и медведицу, ни как выстрелил, ни что потом было.

Доктор отер кровь с лица брата, распахнул одежду на груди и с удивлением увидел, что Виктор Степанович нигде не ранен: кровь на нем была кровь убитых над ним медведей.

Пока Арсений поил дядю студёной ключевой водой, доктор осмотрел медведицу. Ее глаза и нос были разбиты зарядом мелкой дроби. Пуля вошла в грудь и разорвалась в сердце.

И с такими-то ранами зверь успел взлететь на высокую колодину и ударить врага с такой силой, что тот грохнул в яму, как легкая чурка, — и всё забыл.

«Теперь я припомнил всё, — кончает свое письмо Виктор Степанович, — вплоть до момента, когда стрелял. Дальше — пустота, пока не очнулся в объятиях брата.

«Пишу вам, сидя на пне у избушки, прильнувшей к косогору Студёного ключа. Кругом мало что изменилось: тот же суровый и темный лес, да луга, да ширь поднебесья; рябчики в желтой листве осины, глухари на черных в золоте лиственницах.

«Странно мне, что я убил такого громадного и страшного... рябчика. Я же не за ним шел. И мне кажется, что это не я, а кто-то другой.

«Меня попережнему влекут рябчики, одни только рябчики. Признаться вам, я до сих пор ни одного не добыл. Но я не теряю надежды: не всегда же мне бить медведей.

«Когда-нибудь убью и рябчика».



ЦВЕТНАЯ НОЧЬ

Мы возвращались на автомобиле с охоты.

Дорога лежала через степь, ровная и прямая, как поваленный телеграфный столб.

Быстро темнело. Но мы уже отмахали километров пятьдесят, до города оставалось пустыки, каких-нибудь полчаса езды. Шофёр Петя Носик всё прибавлял ходу.

Виктор Степанович ёрзал на сиденье, что-то искал в своих бесконечных карманах. Потом сполз вниз, стал перебирать убитую дичь — нашу добычу.

— Что вы ищете?

— Портсигара моего не видали?

— Видел, когда вы брали из него папиросу, на привале. Помните, за канавой сидели, курили, перед тем как сесть в автомобиль?

— Да-да-да!.. Верно. Значит, там я его и оставил. Надо вернуться.

— Полноте! Папиросы у меня есть, хватит до дому. Шут с ним, с портсигаром: он же у вас грошовый.

— Нет, нет, непременно вернемся, он мне дозарезу нужен.

При этом у профессора был ужасно растерянный вид. Волосы на голове взлохматились, даже всегда аккуратная козлиная бородка как-то смешно растопырилась. Он продолжал похлопывать себя по бокам, по бедрам, по груди — всюду, где у него были карманы. Раз пять перекидывал с места на место свою кепку рябчикового цвета: нет ли под ней портсигара?

— Говорю же: хватит у меня папирос. Нате, закуривайте.

Виктор Степанович закурил, но сказал настойчиво:

— Петя, дорогой, давай поворачивай, поворачивай!

— Фу ты! Не знал, что вы такой скопидом: паршивой деревяжки жаль.

— Да ведь в ней — пропуск.

— Что?

— Пропуск свой я в портсигар засунул. Завтра мне на завод идти, в лабораторию, а меня не пустят.

Я расхохотался.

— Ну, знаете, вы точь-в-точь как один мой очень юный и беспокойный сосед в поезде. У меня нижняя полка была, у него — верхняя. Вот ночью просыпаюсь от крика и стонов. Он стоит на полу, на своем пальто почему-то, и плачет.

— Вы что? — спрашиваю.

— Пальто упало! — отвечает, хныкая.

— Эка, подумаешь, важность — упало. Ну, поднимите, почистите ваше пальто, всего и дела.

— Да... А в пальте я лежал.

Мой анекдот не рассмешил Виктора Степановича: профессор слишком был озабочен.

Петя Носик молча заворотил машину, дал скорость и включил свет.

Сразу утонула в темноте степь. Черная ночь придвинулась к целлулоидным боковым окошечкам автомобиля. Но впереди, в ярком свете фар, открылась волшебная картина: там ночь была цветная.

Первый раз в жизни я мчался по дикой уральской степи ночью. И совсем по-новому открылась мне эта — казалось, такая знакомая — степь.

Широкая дорога убегала куда-то под ноги, вращалась, как бесконечная лента конвейера. Белого, серого, бурого, желтого цвета.

Придорожная полынъ казалась лесом, каждый кустик травы — деревом.

Маленький лес этот точно откуда-то издалека бежал к нам навстречу, но вдруг исчезал, так и не добежав.

Деревья казались гигантскими. Вершинами они уперлись в черное небо. Яркая желто-зеленая листва их блестела, как стекло.

Виктор Степанович всё шарил по своим карманам и что-то озабоченно бормотал себе под нос.

— Да посмотрите, какие чудеса впереди! Бросьте думать о портсигаре, найдем.

— Найдешь его...

В эту минуту впереди из-под колес веером брызнули большие белые хлопья и исчезли справа и слева.

Из темноты раздался резкий лающий голос белых куропаток.

Тут даже Виктор Степанович не выдержал.

— Ишь, ругаются! Слышите, кричат: «Будь ты проклят, будь ты проклят, будь ты проклят: напугал, напугал, напугал!» Это они тебя, Петя.

Петя рассмеялся. Скороговоркой произнесенные проклятия были в самом деле очень похожи на крик испуганных куропаток.

— Носик, наддай ходу! — попросил Виктор Степанович.

— Гляньте! — закричал вдруг Петя.

Впереди прыгал на дороге ушастый зайчишка. Слепленный неожиданным светом, он смешно и неуклюже подпрыгивал на одном месте, точно у него спустились штанишки и мешают бежать.

Петя Носик направил машину прямо на него.

Перепуганный заяц скакнул влево, но сейчас же повернулся и запрыгал назад.

Добежал до канавы и опять, чего-то испугавшись, отскочил на середину широкой дороги.

Петя, ловко играя баранкой руля, гонялся за зайцем из стороны в сторону.

— Жжип! — машина чуть-чуть было не задела его колесом.

Но заяц сделал отчаянный, какой-то нелепо высокий прыжок боком — и сразу пропал в темноте.

Петя Носик хохотал.

Виктор Степанович бормотал себе под нос:

— ...Тоже ночной гуляка! И чего их носит ночью на дорогу?

Километров тридцать мы проехали очень быстро. Проскочили две деревеньки.

Там уже спали; даже собаки не приветствовали нас лаем.

До места нашего привала осталось недалеко.

Вдруг я увидел: впереди на дороге блеснула узкая полоска ярко-ярко-зеленого пламени, исчезла, опять зажглась.

Что-то зловещее было в этом фосфорическом огоньке. И еще страшней он стал, когда вдруг распался на два больших круглых кружка, два пристальных фонарика-глаза.

— Зверь! — крикнул я.

Но его уже заметили Петя и Виктор Степанович. Петя разом схватился за рычаг: прибавить скорости. Виктор Степанович выхватил ружье из чехла.

Да, это был зверь, и недобрый зверь. Мы увидели его всего, когда он повернулся к нам боком, сверкнул в последний раз зелеными глазами. Оба огонька при этом быстром его движении слились в одну полосу.

Это был матерой волк. В ярком свете фар, возвышаясь над лесом полыни, он казался настоящим чудовищем.

Темнобурая шерсть горбом встала у него на спине и груди. Морда блеснула белым оскалом зубов. Тяжелый толстый хвост поднялся на уровень спины, и зверь точно сразу вырос вдвое.

Всё это длилось одно мгновение: волк быстро повернул и помчался от нас прямо по дороге.

Мы с Виктором Степановичем переглянулись и без слов поняли друг друга: стрелять, распахнув дверцу закрытого автомобиля, было невозможно. Вся надежда была на Петю.

Петя это и сам знал. Он только отрывисто бросил нам:

— Держись!

И мы понеслись.

Это было состязание между живыми мышцами дикого зверя и силой человеческой техники. Ставки были приблизительно равные: волк, проиграв, рисковал

жизнью. Жизнью рисковали и мы: какая-нибудь яма на дороге, случайно попавший под колеса камень, — и мы разбились бы вместе с машиной.

По совершенно ровной дороге мы могли развить чудовищную скорость. И еще было у нас преимущество: мы не могли устать. Горючего было достаточно.

Но и у волка был свой козырь.

Дорога была не совсем гладкой, местами попадалась щебёнка, местами неровности. Волку это не мешало, а машину задерживало.

Мы с Виктором Степановичем впились пальцами в спинку переднего сиденья. Перебегали глазами с волчьего хвоста на белый круг спидометра, где черная стрелка показывала скорость нашего движения. Мы ведь были только зрителями, хотя и мчались вместе с гонщиком и рисковали вместе с ним сломать себе шею.

Всё зависело от искусства Пети Носика — шофёра.

Волк трусил от нас рысцой, и, казалось, небыстрой. Но это только казалось: стрелка спидометра прыгнула с цифры 20 к цифре 40, стала против нее.

Значит, мы мчались уже с быстротой сорока километров в час, с быстротой лучших лошадей на бегах.

Волк продолжал уходить трусцой. Но расстояние между нами не уменьшалось.

— Гони, гони! — сквозь плотно сжатые зубы страшным голосом хрипел Виктор Степанович.

Он был бледен. Петя еще наддал.

Волк и тут не перешел в галоп.

Ни разу он не обернулся. Да и не мог обернуться: так устроена его шея, позвоночный столб. Но, видно, хорошо знал, где мы: еще прибавил ходу, шел всё на том же расстоянии от машины.

Машина гудела и подскакивала. Нас трясло в ней, как от лихорадки.

— И-эх! — вырвалось у Виктора Степановича.

Петя замедлил ход. Пошли ухабы.

Волк уходил от нас.

Но не прошло и минуты — дорога стала ровной, мы опять помчались с прежней скоростью.

— Жарь, жарь, жарь! — как в бреду твердил Виктор Степанович.



Расстояние между волчьим хвостом и нами стало заметно уменьшаться.

Машина подозрительно скрипела. Но Петя не сбавлял ходу.

Уже ясно можно было различить свалянную шерсть на толстом полене.¹

Виктор Степанович вдруг откинулся на сиденье.

— Брось, Носик! — сказал он совсем другим голосом. — Ясно же, не может живое тело тягаться с машиной.

Казалось, у него пропал всякий интерес к состязанию. Даже нотка сожаления к зверю зазвучала в его словах.

Я его понимал. Мне тоже жаль было зверя. Но Петя не философствовал. Он еще прибавил скорости.

Мы с Виктором Степановичем крепче вцепились в сиденье, уперлись ногами: сейчас мы налетим на волка, будет толчок, хрустнут под колесами кости...

Волк был от нас в каких-нибудь двадцати шагах.

Вдруг Петя повернул рулевое колесо: дорога круто сворачивала в сторону. На мгновение полоса света упала в степь. Волк мчался по ней. Мы повернули. Свет опять лег вдоль дороги. Но волка на ней уже не было.

— Ушел! — с надрывом крикнул Петя.

Так — неожиданно — состязание окончилось вничью, горячий спор прервался навсегда.

Петя умерил ход и рукавом вытер пот со лба.

Все молчали.

¹ „Поленом“ у охотников называется волчий хвост.

Мы присмотрелись к местности и скоро остановили машину: мы были у того места, куда ехали.

Когда мы вылезли из автомобиля, Петя поставил машину так, чтобы свет фар освещал то место, где мы после охоты отдыхали.

Все трое тщательно осмотрели траву, канаву. Но портсигара не нашли.

Мрачный сел Виктор Степанович в автомобиль. Мы поехали.

— Однако не понимаю, — произнес профессор, — кой чорт он раньше не нашелся?

— Кто? Портсигар?

— Какой портсигар? Ведь стоило ему только свернуть с дороги — и он ушел бы от нас. Значит, для него не линия дороги определяет направление бега. Значит, он прямо, всё прямо бежит, как по ниточке.

— Виктор Степаныч! — вдруг перебил Петя Носик. — А откуда вы папиросу взяли?

— А? Какую папиросу? Эту? Да из кепки. Кепка на пол упала, из нее папироса и вывалилась.

— Так взгляните-ка, наверно и портсигар там.

Виктор Степанович схватил кепку.

— Совершенно правильно: вот же он... Я его, значит, в шапку... И пропуск тут. Вот удивительно. Зачем же мы столько времени и бензина потратили, а?

Я сказал:

— Виктор Степанович, вы — волк.

Профессор подскочил.

— Я?.. Как так волк?

— А так. Вам стоило только протянуть руку, чтобы взять пропуск. А вы всю ночь мчались за ним по степи. Вот так и волк. Пропуск был у него в кармане: стоило ему только свернуть с дороги — и он спасен.

Не могли же мы за ним прыгать на машине через канаву.

Но зверь бежит по дороге, освещенной фарами.

Бежит по ней, как по коридору. Резкие границы тьмы кажутся ему оплошными, неприступными стенами, стенами до самого неба.

Ему и невдомек, что препятствие это — мнимое призрачное препятствие. Стоит только взять вбок...

— Понимаю! — вскричал Виктор Степанович. — Вы правы: я — волк.



ЛАСКОВОЕ ОЗЕРО САРЬКУЛЬ

Чуть обозначились в степи темные купола стогов, когда мы с Виктором Степановичем подошли к берегу большого озера Сарькуль.

— Значит, вот восток, — сказал профессор, указывая на оранжевую полоску зари. — Мы на южном берегу озера, идти будем прямо на север. Солнце на восходе с правой руки. Впрочем, я буду следить по компасу, — у меня с собой.

Двухстволка в руках. Патронташ полон, и все карманы набиты патронами: стрельба предстоит немалая. Приятно бодрит осенний холодок.

Кажется, прямо с берега начинаются камыши: воды чуть-чуть. Темно, но в темноте чувствуешь вокруг себя многообразную жизнь. То зашуршит камыш, то всплеснет вода, то с громким кряканьем подымется невидимая утка, и со всех сторон ответят ей встревоженные товарки.

Особенно горячит охотника вот это предрассветное время.

Видишь блеск воды, различаешь темные острова камыша, знаешь, слышишь, что кругом тебя кишит дичь, а стрелять не в кого: за пятнадцать шагов не видно в сумерках птицы.

Ну, отойти подальше от берега, пока темно: глубже в озеро — больше и больше дичи. Главное, риска никакого, смело шагай вперед и вперед. Можешь часами итти от берега: всё будет вода по колено, чуть выше, чуть ниже. Нигде не ухнешь в предательскую яму, нигде не оступится нога, и только разве по собственной неосторожности зачерпнешь теплой водицы в широкие раструбы охотничьих сапог.

Такое уж ласковое озеро Большой Сарыкуль. Как огромная плоская тарелка, врытая в степь. От берега всё камыши, камыши, а посередине плёс — десятки километров в длину, десятки километров в ширину — целое море.

И безбурное море: слишком мелко, чтобы самый сильный ветер мог поднять высокую волну. А и вздынет вал — не прогонит его сквозь частые заросли камышей: волна запутается в них, как рыба в сети, разобьется на ручейки, разбежится вся мелкими струйками, затихнет, замрет.

Одним словом, такое море, что, кажется, сам не захочешь — ни за что не утонешь в нем.

Однако что-то уж очень медленно светает. Уж час идем вперед, а всё стрелять нельзя.

— Виктор Степаныч?

— Хоу!

— Давайте постоим, покурим.

— Да, надо подождать.

От вспышки спички еще гуще сумерки. Виктор Степанович рядом попыхивает папироской, видно, как что-то перекладывает из кармана в карман.

Бульк!

— Что у вас упало, Виктор Степанович?

— Тсс!.. Слышите, слышите?

Вдали, но с каждым мгновением слышней и слышней: конг, гонг, гонг, конг! — налетают дикие гуси — казарки. Папиросы летят в воду.

— Сюда, правей, правей! — Виктор Степанович,

с плеском разбрызгивая воду, бежит наперерез невидимой стае.

Нет, высоко пролетели, не углядишь в мутном небе.

— Виктор Степанович, у вас ведь что-то упало в воду. Надо пошарить тут на дне.

Он подходит. Но вдруг почти из-под ног у него с отчаянным криком захлопала крыльями утка. Вижу два быстрых, длинных огня, слышу два оглушительных выстрела и торжествующий голос профессора:

— Ага, попалась, каналья!

— Подобрали?

— Готово дело!

— Так идите, поищем вашу вещь.

— Шут с ней! Это, наверное, перочинный ножик.

Видите, уже стрелять можно. Идемте.

Чудак! Такой всегда спокойный и рассудительный дома, профессор совсем перерождается на охоте. Горячится, как мальчик. Готов всё бросить и десять километров пробежать за одной уткой.

Идем вперед. В самом деле, на близком расстоянии стрелять уже можно.

Взвожу курки. Сейчас начнут подниматься утки, и сам не заметишь, как рука вскинет ружье к плечу, глаз поймает на мушку темный силуэт птицы, и смертоносная струя дроби вылетит из ствола. А в ожидании этой минуты волнуешься, всё думаешь, как бы не прозевать взлёта, да ловко ли ляжет приклад в плечо, да не забыть бы взять передка, не обзадить по стремительному чирёнку. И как ни ждешь, всегда всё-таки неожиданно утка вырывается не спереди, а где-нибудь справа, слева или даже сзади.

И вот — началось. Каждую минуту то тут, то там слышатся взлёты. Утки вырываются из-под ног. Утки стадами носятся над озером. Сколько их тут!

Прохладный туман кутает камыши в сырость и сумерки. Внезапно чуть не вплотную на тебя направляется ошалелый от пальбы табунок быстрокрылых чирят, нырков или грузных крякушек. Рука и глаз без спроса делают свое дело. Стреляешь раньше, чем успеешь сообразить расстояние, быстроту полета. Торопливо подбираешь убитых уток, перезаряжаешь ружье, достреливаешь ныряющего подранка.

Забылось время, не думаешь, куда идешь. Отме-



чаю только, где Виктор Степанович, в какую сторону подвигается, чтобы не выстрелить туда, не задеть его дробью.

Кругом заросли камыша — как рощи, озеринки чистой воды — как лужайки. От рощи к роще, от лужайки к лужайке — и всюду ждут тебя новые неожиданности.

Притаился в камыше — и жду. Вижу: крутя головой во все стороны, осторожно выплывает из камыша черная птица — кашкалдак. Ростом с утку, на голове лысина, клюв острый.

За ней показывается другая, третья, четвертая.

А над камышами, как бабочка, закидывая крылья высоко над спиной, медленно и бесшумно летит большой коричневый болотный лунь.

Вот он заметил лысую и сразу пошел книзу, стелет над самыми камышами и уже почти не двигает крыльями.

Но и кашкалдак-лысуха заметила его. Со стоном и хныканьем она кидается в спасительные заросли камыша. За ней сейчас же исчезают товарки.

Лунь дал круг над озеринкой и чуть не наткнулся на спокойно стоящую по колено в воде, большую, горбатую, серую цаплю.

Цапля только повернула к нему острый, как штык, нос, и лунь сразу взмыл, пошел выше и как раз в мою сторону. Не по его когтям добыча.

А цапля опять как будто заснула. Длинная шея вопросительным знаком повалена на спину и грудь, клюв снова глядит в воду.

Миг — и быстрее мысли развернулась шея, клюв,

как копьё, вонзился в воду. Миг — и клюв уже высоко в воздухе, раскрылся, и в нем блеснула и пропала серебристая рыбка.

Лушь налетел на меня совсем близко. Рука и глаз помимо сознания делают выстрел.

И цапля тяжело поднимается над камышами. Летит, вытянув назад прямые ноги, медленно махая точно из тряпок сшитыми, смешными крыльями.

Рука и глаз.

Я не хотел стрелять цаплю: зачем она мне? Но рука и глаз сделали свое дело: вот она лежит на воде, распластав широкие круглые крылья и грозно направив штык-клюв в мою сторону.

Что-то уж очень я разгорячился с этой сумасшедшей пальбой по уткам. Довольно мне дичи, всё равно больше и не унесешь. Надо в себя прийти. Вон и профессор бахает и бахает, тоже вошел в раж.

— Хоу, Виктор Степанович!

— Здесь.

— Пора шабашить. Давайте закусим.

— Можно.

Он подходит, весь всклокоченный, без шапки.

— А шапка-то где?

— Шапка? Хм... наверное, я ее куда-нибудь в карман... Да нет, нету... А я и не заметил.

Что шапка, когда в сумке добрый десяток уток и карманы еще полны патронов!

Профессор весело смеется над своей потерей.

Теперь хорошо бы присесть, дать отдых усталым ногам, сбросить с плеч тяжелые сумки с добычей. Но мы по колено в воде, и на озере нет островов.

— Кончать надо охоту, — беспомощно озираясь, говорит Виктор Степанович. — Где у нас солнце-то?

Странное дело: солнца на небе не оказалось. Только тут мы припомнили, что всё утро оно и не показывалось. Светлая полоска зари давно исчезла, и всё небо было освещено, как толстый матовый колпак, где-то внутри себя утаивший невидимый источник света.

Это не были облака. Какая-то мутная мгла покрывала весь небесный свод: то ли его застлал туман, поднявшийся от воды, то ли где-то далеко, может быть

в Уральских горах, горели леса. Невозможно было определить, в какой стороне неба находилось солнце.

— Надо по компасу, — слегка встревоженным голосом говорит Виктор Степанович.

Он принимается шарить по карманам. Карманов в профессорском пиджаке немало, и поиски заняли минут пять.

Потом профессор во второй раз тщательно обыскал себя.

Потом я держал перед ним свою шапку, и он складывал в неё по очереди каждую вынутую из кармана вещь.

В карманах профессора оказалось что угодно, начиная от часов, перочинного ножа, карандашей и кончая неизвестно как попавшим сюда крошечным кукольным башмачком, баночкой с клеем, камешками, ракушками, птичьими перьями.

Но компаса там не оказалось.

Профессор оторопело уставился на меня.

— Бульк! — сказал я и показал на воду. — Помните, еще в темноте?

— Хм... Возможно. А я думал, это перочинный ножик.

Он еще раз огляделся безнадежно и вдруг внимательно посмотрел на меня.

— Скажите, вам ничего не припомнилось?

— Бухгалтер, — ответил я.

Коротенькую, но очень сильную историю про бухгалтера рассказывали нам в Еманжелинке, на берегу ласкового озера Сарыкуль.

В свободное время бухгалтер любил пройтись по озеру — пострелять уток.

Раз, после выходного дня, он не явился на работу. Его не оказалось и дома.

Видели, как он прошел вчера с ружьем в сторону озера.

Через две недели на него случайно наткнулись рыбаки. Они заметили белую бумажку, привязанную к камышам. Вокруг плавали наполовину разложившиеся утки. Под ними, на дне, чуть прикрытый мелкой водой, лежал мертвый человек с ружьем.

На бумажке аккуратным бухгалтерским почерком было нацарапано:

«Блуждаю восемь дней. Пробовал и на юг и на север — везде только камыши. Ел сырых уток. Патроны все вышли. Я очень устал. Больше не могу».

— Везде только камыши, — тихо, задумчиво произнес Виктор Степанович, — и вода.

Вода ласково лижет черную кожу сапог. В воде весело всплескивают рыбки. Вода блестит среди желтых камышей, куда ни взглянешь.

Если бы мы были в лесу! Там по замшелым с одной стороны деревьям, по муравейникам, по птичьим гнездам так привычно и просто находить север и юг.

— Надо идти, — говорю я. — Если не ошибаюсь, мы пришли вот с этой стороны.

— А если ошибаетесь, — спокойно возражает профессор, — то с нами будет то же, что с уставшим бухгалтером. Постоим и подумаем.

Что думать? Часов пять-шесть мы шагали от берега. Берег далеко. Если даже мы сразу пойдем правильно, мы только затемно будем дома.

Или, правда, стоять на месте? Может быть, хоть под вечер выглянет солнце. Ночью небо может очиститься, высыплют звезды. В хвосте созвездия Малой Медведицы загорится Полярная Звезда. А как мы обрадуемся солнцу утром! А питаться можно и сырыми утками.

— Согласен, — говорю я. — Чтобы не зайти еще дальше от дома, будем ждать здесь солнца или звезд.

Профессор не слышит меня. Он стоит и неподвижно смотрит в воду. Сейчас он удивительно похож на маленькую, большеголовую птичку — зимородка. Направив острый клюв вниз, зимородок так же вот глубоко-мысленно устает в воду и молчит.

Вдруг встрепенулся.

— Эврика! — говорит профессор, ударяя себя ладонью по лбу. — Нашел! Только это будет ваше дело — спасти нас от смерти. Если бы мы были в горах, то должен был бы вас вывести я. Ископаемые богатства — моя специальность — дали бы мне руководящую нить. Человек должен уметь использовать свою специальность во всех случаях жизни. Во всех затруднениях. Используйте здесь вашу, и мы спасены.

— Интересная лекция, — говорю я довольно грубо. — Откровенно говоря, я охотнее послушал бы ее на сухом берегу, у костерка, за кружкой горячего чаю. Что вы имеете в виду, какая моя специальность?

— Птицы, — просто отвечает профессор.

— Птицы?

Как нам могут помочь птицы? Что он хочет сказать?..

Да что же я, право: это же так ясно!

— Потрясающая идея! — говорю я весело. — Теперь слушайте мою лекцию. Только на ходу: я поведу вас на юг, прямо к дому.

Я присмотрелся к пролетающим над нами стаям, выбрал направление и пошел вперед. На ходу я с важным видом, профессорским голосом излагал Виктору Степановичу всем известные истины: что осенью многие виды птиц собираются в стаи; что стаи перелетных птиц тянут осенью с мест гнездовых на зимовки — с севера на юг.

Высоко над нами с гоготом пролетали табуны диких гусей, большие стада уток. Раз даже вдали медленно проплыл серый треугольник журавлей. Нам уже не хотелось стрелять птиц, мы благодарными глазами следили за их полетом.

Четыре часа мы без отдыха шлепали по воде. Солнце не показывалось, и нигде не было видно никаких признаков близкого берега.

Последние часа полтора мы с Виктором Степановичем не обменялись ни словом.

Есть в дневном и вечернем полете некоторых птиц разница.

Соколы и воробьи, замечал я не раз, почему-то мелко-мелко семят крыльями на вечерней и утренней заре.

Перелетный сокол сапсан пролетел невдалеке от нас. И я видел, что он летит по-вечернему.

По каким-то своим признакам и Виктор Степанович узнал, что приближается ночь. Он остановился и хмуро сказал:

— Скоро начнет темнеть. Я отказываюсь идти дальше.

— Сил нет?

— Не сил, а веры. Ваши птицы надули. Сейчас скажу, где наша ошибка.

Он раскурил папиросу и продолжал:

— Конечно, общее направление перелета многих птиц — с севера на юг. Но вам отлично известно, что стаи летят не по прямой. Часто делают углы, зигзаги, повороты. И над этим громадным озером они могут лететь по разным направлениям. Так оно и есть на самом деле. Утки, казарки кормятся здесь. Я давно слежу, прямо мы идем или нет. И, по-моему, мы кружим. По-моему, мы теперь дальше от берега, чем были час назад.

Сказать правду, и мне в голову не раз приходила эта страшная мысль. Все-таки я пробовал защищаться.

— Журавлям нечем кормиться здесь, они ни за что не опустятся в воду. Они идут здесь напроход — прямо с севера на юг.

— А почему до сих пор не видно даже стогов на берегу?

На этот вопрос я не мог ответить. Если бы мы действительно шли прямо на юг, то уже давно должны были бы очутиться на берегу.

Я с отчаянием посмотрел вокруг.

Вода и камыш, камыш и вода. Табуны уток снуют над камышом по всем направлениям. И еще стайка каких-то птиц, часто-часто махая крыльями, летит прямо на нас. И никак я не пойму, что же это за птицы такие?

Они близко. Я снимаю ружье с плеча. Рука и глаз делают свое дело. Но на этот раз им помогает и разум: я тщательно выцеливаю, рассчитав расстояние до птиц и быстроту их полета.

Смертоносная струйка свинца, с огнем и громом вылетев из ружья, пересекает их полет. Одна из птиц растрепанным комочком падает в воду.

Я поднимаю ее и показываю Виктору Степановичу.

— Это кукша, — говорит профессор. — Зачем вы ее загубили, зверь-человек?

Он прав. Так называется эта рыхлая птичка ростом с дрозда, вся в кофейном и ржавом пере и с хохолком.

Но я говорю:

— Нет, дорогой профессор, вы ошибаетесь. Это не кукушка, это попугай. И хоть у нас на севере не бывает попугаев, для нас с вами это все-таки настоящий попугай.

— Вы обалдели от усталости и страха, — не совсем вежливо говорит Виктор Степанович, — у вас мысли путаются.

— Нет, профессор, не путаются. Я вам докажу это, если вы согласитесь еще немножко пройти со мной. Чуть-чуть, — ровно столько, чтобы выслушать маленькую подробность о том, как была открыта Америка Христофором Колумбом.

— Чепуху вы порете, — сердито бурчит профессор. Но всё же идет за мной.

— Христофор Колумб, — начинаю я новую лекцию, уверенно шагая по воде, — обманул королеву Изабеллу Испанскую. Уверил ее, что он откроет для нее Антилью — легендарную страну, где золота больше, чем грязи. Королева ему поверила. А он сам не знал, куда плывет.

Он завел корабли в неведомую часть океана. Замучил экипаж.

Матросы начали бунтовать. Колумб вышел на палубу, чтобы отдать приказ повернуть назад в Испанию.

Вдруг он увидел стайку птиц, летящих мимо корабля.

Это были попугаи.

Колумб сразу переменяет свое решение и велел держать курс по направлению полета стайки.

Через час дозорный крикнул с вышки:

— Земля!

И все увидели берег. Это и была Америка.

— Вполне понятно, — сердито говорит Виктор Степанович. — Попугай — настоящая лесная птица. В океане ей делать нечего. Стая попугаев, занесенная в море, должна была лететь к суше, это всякий знает.

— И наша маленькая лесная ворона — кукушка, — говорю я, — совершенно сухопутная птица. В большом озере, в ласковом Сарыкуле ей делать решительно нечего. Стайка просто пересекала какой-нибудь заливчик.

Кукши летели к берегу. В этом вы можете убедиться сами, если внимательно посмотрите вперед, в том направлении, куда летела стайка и куда мы с вами теперь шагаем.

Профессор посмотрел и вдруг полным голосом затянул:

Так слава моряку-у
Колумбу Христофору:
Открыл Америку-у
Как раз, выходит, в пору!

Впереди за камышами в быстро надвигающихся сумерках показались темные купола стогов.



ДЖУЛЬБАРС

(Рассказ ворошиловского стрелка)

Прошлого года осенью я был в командировке в Таджикистане.

Сию как-то в столовке, обеда жду. Вдруг вваливается компания бойцов — всё молодые офицеры. Все очень возбуждены, громко разговаривают, смеются.

Один подходит ко мне, здоровается.

Оказалось, по Ленинграду знакомый. Представил товарищей, рассказал, как мы с ним на ворошиловского стрелка сдавали.

Обедали вместе, и тут узнаю, что вся компания сейчас едет на облаву: какого-то джильбарса стрелять, который много скотины загубил в окрестных кишлаках.¹ Какие-то там вырыты окопчики по числу стрел-

¹ Кишлак (узбекск.) — деревня.

ков, и только в одном нехватает стрелка: кто-то из офицеров заболел. И вот они меня с собой приглашают, непременно чтобы ехал с ними, и коня дадут и винтовку.

Я подумал, что джувльбарс — местная какая-нибудь порода барса, зверь не такой уж страшный. Здоровая кошка — вот и всё. Да и так на меня насели — не было никакой возможности отказаться. Подвиг, знаете, всё-таки: население освободить от вредного зверя.

Отправились. Всего каких-нибудь километра два по степи от городка отъехали и остановились.

Дали мне заряженную трехлинейку и подвели к окопчику. Я спустился в него, а они дальше поехали — рассаживаться по таким же окопчикам. Очень скоро все с глаз скрылось, и красноармейцы поспешно ускакали назад с нашими конями.

Мне сказали: зверя надо ждать примерно через час. Времени приготовиться хватит.

Окопчик этот — простая яма, по грудь глубиной. Голова и плечи наружу, стрелять очень удобно. А в углу еще дыра, узенький ход вниз, весь в него влезешь, с головой.

Я подумал: «Значит, зверь всё-таки опасный. В случае чего — в эту дыру надо нырять, отсиживаться от него. И зачем это я ввязался в эту музыку? Сидел бы сейчас под крышей и никаких зверей, кроме комаров, не боялся».

Правду сказать, всякие мысли в голову лезли: «Ну, барс, джувльбарс или как его там? — конечно, не лев. А всё-таки с непривычки жутковато: зверь такой, что не только козла, а и здорового кабана берет. А кабан и сам даст на ходу клыком — у человека нога пополам».

Винтовку осмотрел тщательно. В порядке вся.

Кругом огляделся. Ровная-ровная степь. Трава совсем низенькая. Только шагах в двухстах впереди — тугай. Это кустарники такие непроходимые, джунгли. Слева и справа от меня головы соседних стрелков из земли высовываются, поблескивают ружейные стволы, да очень далеко: если зверь набросится — помощи не жди.

Время чем дальше, тем скорее летело. Я всё на часы поглядывал.

И вот ровно через час слышу выстрел далеко впереди. Это, я знал, условный знак, что цепь загонщиков двинулась.

И опять полная тишина. Только высоко в небе противным голосом какая-то хищная птица кричит, летает кругами, да часы в моем кармане тикают.

Винтовка у меня давно наготове. И смотрю я, зорко всматриваюсь в туган. И всё мне кажется: вон-вон высунулась из кустов звериная голова, поглядела и скрылась.

Сто раз успел передумать, как этот барс выскочит из тугаёв, — серый весь и черные круги по всей шкуре, ростом с гончую собаку, хвост до земли, — и как он себя этим длинным хвостом в ярости по бокам будет бить. Присядет на ногах, как кошка, и бросится вперед.

Вот перед прыжком и буду стрелять. В голову. Нет, лучше в левый бок ему — в правый, значит, от меня. В сердце. А то по черепу может пуля соскользнуть.

Весь напрягся в ожидании и о времени забыл.

Потом, чувствую, устал стоять, устал вглядываться и вслушиваться. А глаза оторвать от тугаёв боюсь; вдруг он тут и выскочит?

Выхватил часы из кармана, глянул: уж полтора часа прошло после выстрела. Сразу от сердца отлегло: сейчас не зверь, сейчас гонщики-красноармейцы покажутся из тугаёв. Пора уж им тут быть.

И уже веселыми глазами стал на туган смотреть: зверя уже не боялся.

... А он ползет. Уже почти половину расстояния от тугаёв до меня прополз. И как я его раньше не приметил, прямо не пойму!

Да и совсем не тот зверь, которого я ждал, — не барс.

Оранжево-красный весь, с черными полосами, а длинной, поверите ли, ну прямо с громадную тропическую змею, с удава!

Сознаюсь, сердце у меня так и сжалось. И весь я точно куда-то в пропасть ухнул.

Он не полз, а весь как-то переливался. Брюхо к земле прижато, ног не видно, только широкие круглые лопатки над спиной тихонько шевелятся. А голова —

с бычьей. И прямо-прямо на меня ползет. Да быстро ведь, как змея!

Опомнился я, схватился за винтовку. И вот сила привычки: как почувствовал в руках знакомый предмет, прижал приклад к плечу — сразу успокоился.

Локти упер в землю. Выцелил аккуратно в левый бок. Головой-то он ко мне был, так что рядом с его щекой пришлось целиться в плечо.

Вторым суставом указательного пальца, как полагается по правилам, плотно нажал курок. И, кажется, не успел еще замереть звук выстрела, как я оторвал приклад от плеча и щелкнул затвором: послал вторую пулю в ствол — и опять был готов стрелять.

Я ждал страшного рева, громадного прыжка, или что зверь разом упадет на бок и в конвульсиях захрипит, задрыгает тяжелыми лапами. Словом, всего, чего хотите, ждал, но только не того, что случилось. Гляжу и глазам не верю: зверь хоть бы дрогнул — ползет, как полз. Так же молча, так же быстро, так же прямо на меня.

Я — ворошиловский стрелок, почти снайпер. Я на расстоянии ста метров из пяти выстрелов не даю промаха в чуть видимое чёрное яблочко мишени. Как я мог промазать?

Одной секунды не было на размышление. От верности прицела и быстроты выстрела зависела моя жизнь. Я это чувствовал всем телом. Я давно уже понял, что это за зверь передо мной: — тигр.

Тигр всегда казался мне страшней льва. Ползучая грудка мышц и страшная способность одним прыжком, мгновенно, переносить свое многопудовое тело на десятков метров...

Во второй раз я прицелился в голову: рассчитал, что если и соскользнёт пуля по гладкой кости черепа и зверь кинется на меня, я всё же успею еще раз или два выстрелить в него, пока он очутится рядом.

Рука не дрогнула. И после выстрела я опять мгновенно перезарядил винтовку.

Та же картина: зверь, молча, быстро ползет на меня. Теперь и семидесяти пяти шагов не было до него, и я уже видел его растопыренные усы.

Что это: мираж, обман зрения? С таким же успехом можно стрелять в легкое облачко тумана.

Когда я выстрелил в третий раз, тигр был в пяти-

десяти шагах от меня. Я видел его сверкающие глаза. Они не моргнули и после выстрела.

Вдруг меня обожгла страшная догадка: я стреляю холостыми патронами! Ужас моего положения ясно представился мне: остается два выстрела, я не успею вставить другую обойму. И эти последние патроны — тоже лишь безвредные хлопушки.

Четвертый выстрел я сделал, когда зверь был в каких-нибудь тридцати пяти шагах от меня.

Тигр — ни звука. Только гибкий хвост, который я до того принимал за продолжение его неимоверно длинной спины, заходил по земле, как у кошки, подбирающейся к воробью.

Зверь готовился к прыжку.

Не помню, куда и как я выпустил пятую, последнюю мою пулю. В момент выстрела громадное огненное тело зверя беззвучно, с непостижимой легкостью отделилось от земли и метнулось ко мне.

Я выпустил пустую винтовку из рук, отскочил назад и ногами вниз скользнул в узкую нору на дне окопа.

В тот же миг надо мной нависла страшная пасть зверя. В лицо мне пахнуло горячим зловонным дыханием. Кроваво-красный язык и белые громадные клыки были над самыми моими глазами. Сумасшедший рев совсем оглушил меня. Я заорал, кажется, еще громче зверя. И потерял сознание.

Очнулся я в постели. У изголовья стоял доктор в белом халате. Вся комната была полна молодых офицеров. У всех были испуганные лица, во всех глазах — напряжённое ожидание.

— Как себя чувствуете? — обыкновенным голосом спросил доктор.

Мне всё припомнилось сразу.

— А тигр? — спросил я.

Все наперебой закричали:

— Тигр убит!

— Сдох над вами!

— Небывалой величины зверь!

— Блестящая стрельба!

— Все пять пуль в нем!

— Две в левой щеке!

— Две в левом легком!

— Одна в левом плече!

— Если бы чуть пониже, — торопливо вставил мой знакомый, — угодила бы как раз в сердце. А так все пять пуль прошли зверя насквозь, без задержки.

Шкуру убитого мною тигра, или по-тамошнему джультарса, я увидел только через два месяца, уже в Ленинграде. Товарищи по охоте дали из нее сделать ковер. Ковер вышел замечательный, такой большой, что покрывает весь пол в моей комнате. Но когда я его в первый раз увидел, я вздрогнул: очень уж ярко припомнилось, как эта страшная туша на меня ползла, такая же безмолвная и такая же равнодушная к пулям, как этот ковер.



ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА

Четырнадцатого августа мы вышли из Обдорска на моторной рыбнице «Зверобой», пересекли полярный круг и скоро потеряли из виду берега. Казалось, мир залило водой.

Утром снова увидели землю. Но жалок был ее вид: ни гордых гор, ни леса; чуть-чуть возвышалась над водой низкая зелень.

«Зверобой» шел протоками между плоскими островами.

К полудню остановился у бывшего ненецкого стойбища Пуйко.

Удивительно на краю света, среди воды и хлипкой тундры в безлюдной пустыне, наткнуться вдруг на вывески:

«Прием телеграмм производится...»

«Общественная столовая».

«Фельдшер».

«Штаб».

Здесь утвердился боевой рыболовецкий отряд. С де-

Сяток изб, склады, мостки в тундру, сети, развешанные на сушилках, — всё это на небольшой площадке, отвоеванной у низкого, но упрямого кустарника.

В штабе приняли нас радушно. Но в ловецкой столовой не оказалось лишних порций для приезжих.

Высокий остроплечий астраханец, начальник промысла, подозвал мальчонка лет восьми.

— Сведи-ка товарищей на склад. Отбери им маленького осетра.

Я пошел за мальчонком в обширный сарай. Там, на нарах, грудями лежали саженные, распластанные, золотые от жира осетры. И к потолку рядами были подвешены такие же соленые рыбины.

Мальчонок выбрал из самых мелких осетров одного пожирнее.

— Бери, дяденька. Этот хорош будет.

Острая морда рыбины была взнуздана веревкой. Я потащил подарок за эту веревку; держал на отлёте, чтобы не запачкать жиром одежды. Я держал руку с веревкой на высоте своего подбородка, а хвост «маленького» осетра волочился по земле.

Полтора шага до штаба достались мне трудно: рука затекла.

Мы недолго оставались в штабе: тут люди стремительно вершили ловецкие свои дела, и нам не хотелось мешать им.

Мы собрались в тундру на охоту.

— Хотите, проедем на остров, — предложил молодой ловец Гриша. — Я нынче выходной, могу показать места. Может, и гусей найдем.

— Едем. Мы готовы.

— А где же ваши сетки? Накомарники?

Сеток у нас не оказалось с собой.

— Ничего. Не загрызут же нас комары.

— Как сказать! Я-то привычный, а вам советую побережся.

Гриша достал у товарищей накомарник — один на двоих. Другие были заняты.

Мы отправились.

Валентин великодушно предоставил накомарник мне первому. Я натянул марлю на голову, насадил сверху кепку и почувствовал себя, как лошадь, которой надели на морду мешок без овса.

Дошли до протока. Здесь на берегу лежали три узкие лодочки-долблѣнки.

Валентин легко столкнул одну, смело вскочил в нее и вдруг — как стоял с ружьѣм через плечо, так плашмя и лег в воду — исчез из глаз.

Это произошло так быстро и неожиданно, что на миг я опешил. В следующий миг Валентин уже выскочил из воды и шагнул на берег. Весь в тине и траве, он был похож на водяного. Хохот душил меня.

Валентин ругался, пока не сбсох.

Мы вычистили и вытерли его ружье, пустили на воду другую лодчонку, чуть побольше, и осторожно уселись: Валентин с Гришей в весла, я — на рулевое.

Узкая душегубка шатка и валка — сиди, не ёрни, — и летит по воде, как по воздуху.

Протокой быстро выскочили в широкий, сильный рукав Оби.

Большие волны мягко, но мощно ударяют о борт, грозят перевернуть утлую посудинку.

«Выкупаться-то не беда, — думаю про себя, — а вот как за ружьем потом нырять на такой стремнине?»

— Кстати, Гриша, не знаете, какая тут глубина?

— Как раз тут недавно мерили: сорок четыре метра.

— Ух ты! Нырнешь, пожалуй...

Быстро несет на нас плоский зеленый остров. На песчаной косе сидит большая птица. При первом же взгляде на нее забываю глубину и ненадежную лодчонку. Резким движением схватываю ружье, срываю накомарник.

Лодчонка качнулась, но выпрямилась.

Совершенно непонятная птица!

— Гриша, не знаете, что это?

Ловец продолжает грести, но оборачивается:

— Филин вроде...

— Филин! Филина я бы за версту узнал: он сидит столбиком, у него уши. А эта тело держит, как чайка.

— Халей, может? — недоумевает ловец. — Цвет только вот...

— В том-то и дело — цвет!

Халеем зовут здесь сибирскую хохотунью, большую чайку. Молодой халей — белый с серым, старый — весь белый. А эта удивительная птица вся желто-бурая,

спина совсем темная, и какое-то удивительное золотистое сияние над ней.

— Повернулась к нам грудью. Грудь такого же цвета и золотистое сияние еще сильнее.

Быстро перебираю в уме другие породы крупных чаек: клуша, бургомистр, громадная морская чайка? Нет, ни к одной не подходит цветом.

Значит, это что-то необычайное, может быть, еще неизвестное даже науке. Теперь только бы подпустила на выстрел!

Вдруг резкий толчок, лодка накренилась на борт и стала. Мы все трое чуть не вылетели в воду.

— Сели! — Резким движением я выпрямился.

Птица сейчас же поднялась на воздух.

— Уйдет!

Стрелять было далековато, а бить приходилось на-верняка. Ну, шольберг,¹ друг, не выдай!

Я вскинул ружье и выстрелил.

Птица качнулась, вздрогнула крыльями, но сейчас же выпрямилась.

Я выстрелил из другого ствола.

Птица упала в воду с распластанными крыльями.

В порыве благодарности я прижал к груди верного своего шольберга.

— Гляди, гляди! — крикнул Валентин и выскочил из лодки вслед за ловцом.

Было на что поглядеть.

Точно взорванный моими выстрелами, плоский берег весь поднялся на воздух. Сразу даже не сообразить было, что это взлетели из травы и носились над островом бесчисленные стаи куликов и уток.

Но мне было не до них.

Я кинулся к своей необычайной добыче.

Гриша с Валентином поспешно поволокли лодку по песчаной мели к берегу.

Передо мной качалась на воде невиданная птица. Это была чайка, но чайка невероятного цвета. Только киноварно-красное кольцо вокруг глаз да красное пятно на нижней половине клюва, а всё перо — золотое. Я сразу решил:

¹ Фирма ружья.



— Конечно, новый вид! Назову его «лярус ауреус» — золотая чайка.

— Гуси, гуси! — раздался крик.

Я схватил драгоценную добычу и побежал к лодке. Там положил убитую птицу на сухую дощечку и тщательно прикрыл сверху веслом, чтобы не утащил ненароком пролетающий хищ-

ник. И кинулся догонять товарищей.

Тундра, низкая тундра.

Тундра — это комары и мошки, очень низкая растительность и комары, и очень много воды, тучи куликов, уток и комаров, комаров.

Тучи уток быстро унеслись за реку, строгие гуси удалились при первом нашем появлении. Кулики рассеялись и быстрыми пестрыми хлопьями носились над травой. Но тучи комаров с каждой минутой росли и сгущались.

Каждого из нас окружало поющее облако и двигалось вместе с нами. Комары и мошки танцевали перед глазами, лезли в глаза, набивались в рот, в уши, в рукава. И жгли, жгли, жгли, — тысяча укусов в минуту!

На мне не было накомарника: теперь его надел Валентин. Но всё равно — разве может спасти тонкая, прилипающая к лицу, к шее сеточка от бесчисленных мельчайших этих кровопийц? Против них бессильны даже сплошные стальные латы.

Валентин сорвал с себя накомарник и сунул за пазуху.

Ненасытное охотничье любопытство гнало нас вперед и вперед, сквозь тучи комарья. Мы разбрелись в разные стороны. Валентин сейчас же открыл бешеную канонаду.

Стаи куликов поминутно проносились перед самым ружьем. Я не стрелял в них: всё это были простые турухтаны. «Петушки» — зовут их ловцы; «нгай-вояр» — «голова в коросте» — зовут ямальские ненцы.

В небольших грязных лужицах, «по пояс» в воде, бродили нежные, доверчивые кулички-плавунчики — «итёда сармик».

Без выстрела я добрался до тихого сора — залива.

Здесь вода вся в волдырях, хоть и прозрачна; под ней золотится песчаное дно. Всюду из дна бьют крошечные гейзеры, серебряными фонтанчиками выскакивают, взлетают над ровной поверхностью воды. Беспорывно бурлят, куда-то торопятся.

Я думал сначала — газ. Оказалось: роднички чистой холодной воды.

Легкими зонтичками поднимается из воды хвощ, трава — густыми шапками.

Мне показалось: в одной из таких шапок-островков что-то возится.

Я тихонько подошел и уже поднял ружье, когда неожиданно заметил в траве маленький желтый, совершенно круглый глаз. Глаз неподвижно смотрел на меня, холодный и плоский, как из жести.

Я не знал, кто это: зверь, птица, змея?

В траве ничто не шевелилось. Не шевелился и я.

Так прошло с минуту. Глаз не сморгнул.

Я тихонько шагнул вперед.

Глаз исчез.

Я остановился: если это птица, она сейчас выветится из травы.

Ничего не вырывалось.

Я сделал шаг — опять ничего.

Тут я заметил лёгкую бороздку волны по ту сторону островка: что-то плыло там за травой.

Я приложился, и в это самое мгновение из-за травы выплыл темный пароходик, побежали за ним лодочки, лодочки, лодочки.

Я поскорее опустил ружье: ведь это был «железный глаз» — езе-сеу, — это была утка, крупный нырок — морская чернеть со своими утятами!

Теперь, когда трава не скрывала их больше от меня, они помчались по воде со всей быстротой, на какую были способны. Мать держала голову прямо — труба у пароходика. Птенцы, еще не оперенные, в пуху, вытянули шеи вперед и, как веслами, гребли коротенькими культяпочками-крыльями, удирая изо всех своих маленьких сил. Невозможно было стрелять в них.

Я подивился, как поздно тут выводятся утки: ведь было уже пятнадцатое августа.

Боль от комариных укусов стала невыносимой. Я поспешил выбраться на реку. Там дул свежий ветерок. Он сдувал комаров. Там можно было отдохнуть.

Мои товарищи стояли по колено в воде и дышали, как загнанные лошади. Я присоединился к ним.

Мы закурили.

Казалось, никакая сила не загонит нас назад в тундру.

— Глядите, — сказал ловец Гриша и показал рукой туда, где за островом на Оби плясали мелкие волны. — Там — сáлма, мель. Мы зовем эту сáлму «Песок-страдание». Там рыбу тянешь — сотни пудов. Зато и мучаемся, пострели ты в самую душу! Руки заняты, дыхнуть некогда, а гнус — комарьё, мошка — живьем грызет. Чистая смерть! Утро поработал — два дня потом большой лежишь.

«Песок-страдание!» Я поглядел на свои вздувшиеся от укусов руки, подумал, что и острову этому надо бы дать такое название.

Уже вечерело. Мир точно колпаком прикрыло из чуть дымчатого стекла.

Теперь кулики все куда-то исчезли, попрятались. Стало очень тихо, только звенел, пел, жужжал воздух от комариных полчищ.

Начали появляться утки. Поодиночке тут, там, стремительными тенями. Они беззвучно пронеслись в сумерках и вдруг с шумом валились в траву.

Невозможно было устоять на месте. Мы опять разбрелись по острову. И вот когда началась настоящая охота!

Шагнешь — всплеск, и с криканьем вырывается утка, другая, третья, сбоку, сзади, впереди.

На ночь, на жировку, сюда прилетели только настоящие утки, не нырки. После окончания охоты я осмотрел всю нашу добычу. Тут были одни шилохвосты да чирки. Другие породы «благородных» уток сюда, за полярный круг, не заходят.

К ночи, вконец измученные, мы вернулись в штаб.

— Да на вас лица нет! — ужаснулись ловцы.

Нельзя было выбрать более неудачное выражение: как раз лица-то на нас было слишком даже много

Щеки и подбородок стали вдвое против своей обычной величины, лоб покрылся бесчисленными буграми и рогами, веки распухли.

Но для меня все мои страдания были оправданы удивительной золотой чайкой.

Я показал ее всем ловцам.

— Халей, — говорили ловцы.

— А цвет-то, цвет! Видали вы когда-нибудь чайку такого цвета?

— Цвет, действительно, непонятный. Золотой халей. Не видали таких.

Я торжествовал.

Утром поздно проснулись, и я сразу вытащил определитель птиц и инструменты для снятия шкурки.

По определителю тоже вышло — халей, сибирская хохотунья. Об этом говорили размеры птицы, ее крыльев и хвоста, киноварно-красное кольцо вокруг глаз.

Против говорил цвет, удивительный золотой цвет.

Вывод мог быть один: эта чайка принадлежит к виду, очень близкому к сибирской хохотунье, но резко отличается от нее цветом. Другими словами, мною открыт новый вид — «лярус ауреус» — «золотая чайка».

Очень довольный, я закрыл определитель.

При этом я заметил, что от моих пальцев на белых листах книги остались золотистые масляные пятна.

«Кой чорт? — удивился я про себя. — Где я мог вымазаться в масле?»

Я понюхал свои руки.

Они пахли дегтем.

Я пристально посмотрел на чайку. И мне всё стало ясно.

Тихонько, чтобы никто не заметил, я завернул золотую птицу в бумагу, вышел из барака и швырнул ее в помойку. Валентин стоял неподалеку, но, кажется, ничего не видел.

Никогда в науке не будет описана новая порода чаек невиданной красоты, «золотая чайка» — «лярус ауреус!».

Но где же, где угораздило ее выкупаться в бочке с дегтем?

Об этом я не решился расспросить у ловцов. Мне не хотелось напоминать им о моей удивительной добыче, о халее несказанного золотого цвета.

Через день мы покинули Пуйко на борту большого парохода.

Мы с Валентином стояли на палубе и любовались прихотливой игрой света в протоке между островами. Спокойная поверхность воды отливала перламутром, вспыхивала искрами, переливалась радужными красками.

— Да, кстати, — встрепнулся вдруг Валентин. — Ты не забыл уложить шкурку твоей удивительной чайки? Приятно будет обогатить науку...

«Пропал! — подумал я. — Заклюет насмешками. Что бы ему такое соврать?»

В это время к нам подошел один из пассажиров, человек с тюленьими усами и пристальными глазами моряка.

— Это ведь они опыт производят. — И он показал на перламутровую воду.

— Кто они? Какой опыт? — спросил я.

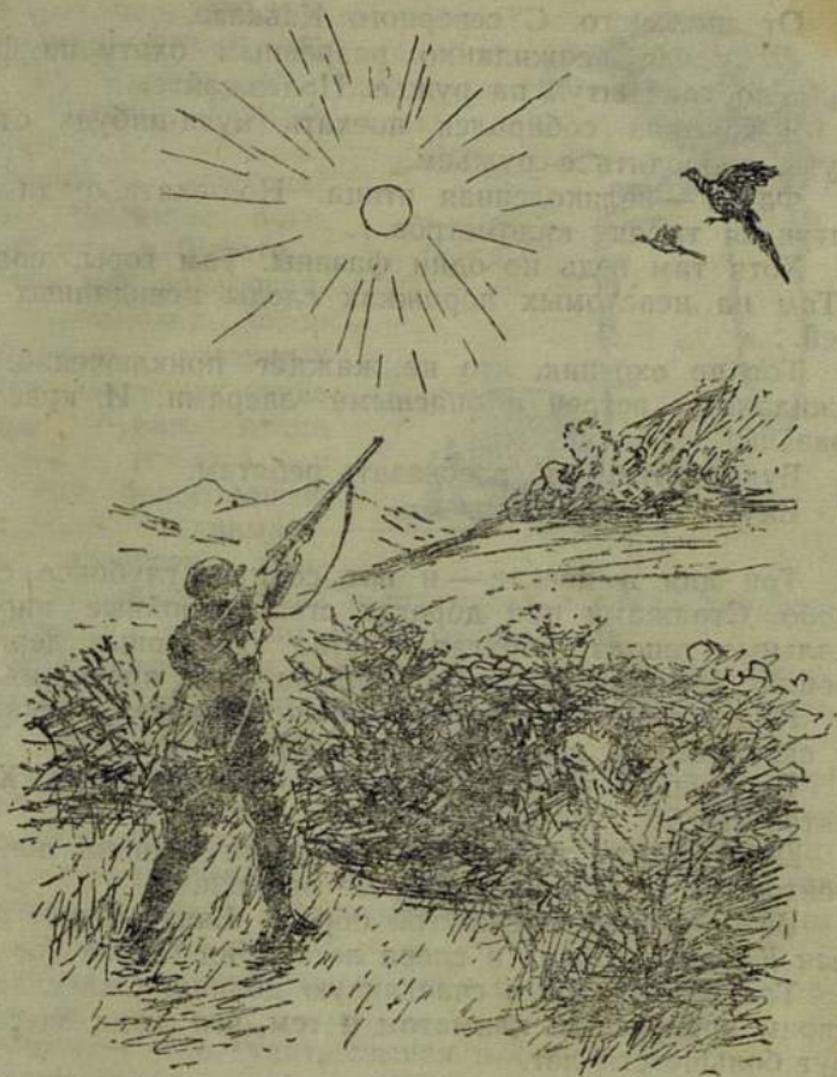
— Ловцы пуйкские. Тут испокон веков такой обычай: чтобы рыбу со всех салм на одну согнать, мешки со смолой в воду кидают. Смола поверхность воды стянет пленочкой, — рыбе дышать нечем, она и уходит. Собирается, где нет смолы. Здешние так говорят. Ну, астраханские не верят. Тут ведь, в Пуйко, сейчас всё больше астраханские. С Каспия их перекинули, чтобы тут рыболовное дело по всем новейшим методам поставить. Вон как воду насолили. Нырнешь — пожалуй, желтокожим китайцем вылезешь.

— Красивая вода, — задумчиво сказал Валентин. — Золотая.

И вдруг обернулся ко мне:

— А не лучше ли назвать твою птицу «китайской чайкой»?

Я сделал вид, что не слышал ехидного его вопроса, и с жаром стал расспрашивать тюленьи усы про новую жизнь за полярным кругом,



В ГОРАХ НА КУБАНИ

Дождь и слякоть. Ленинградское грязное небо ползет низко над побуревшими крышами. На черной ветке ободранной липы судорожно дрожит последний жалкий листок.

На двери — сквозь дырочки плоского ящика — что-то белое. Газета? Нет, письмо. На конверте штемпель: «Микоян-Шахар».

От знакомого. С северного Кавказа.

«... у нас неожиданно разрешили охоту на фазанов: до трех штук на ружье. Приезжайте».

Я как раз собирался поехать куда-нибудь отдохнуть, побродить с ружьем.

Фазан — великолепная птица. Но ехать ради трех штук за тысячу километров...

Хотя там ведь не одни фазаны. Там горы, солнце. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...»

Тот не охотник, кто не жаждет приключений, неожиданных встреч с опасными зверями. И красавцы фазаны!

Будет потом что рассказать ребятам.

Еду!

Три дня в поезде — и вот солнце, глубокое синее небо. Стражами при дорогах стоят стройные пирамидальные тополя, упругая листва фруктовых деревьев роняет легкую кружевную тень на лица прохожих.

Над степью трепещет жаворонок, напевают скворцы у скворечен. А ведь сегодня — первое октября.

Вверх по Кубани железной дороги еще нет. Ходят автобусы.

Для защиты пассажиров от пыли машина покрыта тентом. В нем — целлулоидные окошки.

Вижу сквозь них крутой обрыв. Внизу бежит быстрая Кубань. Справа и слева встают на глазах горы.

Так я въезжаю в счастливую долину. Она славится своим прекрасным климатом и тем, что люди здесь живут больше ста лет.

Я тоже согласен жить тут сто лет. Короткая теплая зима, не очень жаркое лето и такое множество безоблачных дней в году.

Всё есть в этом счастливом крае: плодородные пашни, тучные пастбища, бахчи, фрукты, в горах кругом — каменный уголь, свинцовая руда с серебром, цинковые и медные руды, алебастр, мрамор. Там бьют родники нарзана, шумят широколиственные рощи — дуб, бук, дикая груша, чинара.

Там сколько хочешь дичи и зверья, а в быстрых реках и ручьях — голубая, с красными крапинками, красотка-форель.

Километров тридцать от железной дороги отмахал уже автобус. Остановка: станция Красногорская.

Пассажиры выходят размять затекшие ноги, подкрепиться в буфете.

А меня, как зачарованного, притягивает забор из больших каменных плит: на нем лежит очень большая бурая птица с белой головой и шеей — сип белоголовый. Он грозно поднимается мне навстречу, подбирает огромные крылья и втягивает в плечи длинную шею, голову с тяжелым горбатым клювом.

Я остановился. Он успокаивается, вытягивает шею, покрытую густой короткой шерстью, оглядывает ширь долины, цепь запирающих ее гор.

Царь поднебесья, птица великих просторов — гриф! Как ты попал сюда? Смелый ли горец нашел твое гнездо на скале над пропастью и взял тебя беспомощным пушистым птенцом? Меткий ли охотник, повредив тебе пулей крыло, заставил спланировать к своим ногам из-под облаков?

Величавый пленник, переступая с ноги на ногу, гремит цепью.

Но шофёр уже гудит, сзывая пассажиров.

Усаживаться в машину помогает нам красивый пожилой казак. С прямыми спокойными чертами его лица никак не вяжется удивительная гибкость его спины. Что-то ужьюное в его движениях.

— Задаром, Омеля, стараешься, — говорит ему шофёр. — Без билета не пуцу.

— Дорога дорогá, товарищ начальник! Мне ведь недалеко...

Шофер с треском захлопнул у него перед носом дверцу. Казак крикнул, подхватил с земли узелок, перекинул его через плечо.

— Свисти, машина: я пошел!



И крупно зашагал вперед по дороге.

Автобус зарычал, заскрипел, вздрогнул и медленно покатился по пыльной дороге.

Опять мелькают белые, вымазанные известкой камни, расставленные вдоль дороги по кромке обрыва.



Пасущиеся у дороги лошади уносятся вскачь от машины, не ждут и гудка.

Но вот поперек нашего пути стоит серенький длинноухий осел.

Шофёр гудит, гудит, гудит, машина подкатывает к ослу вплотную. Осел стоит, как вкопанный, даже ухом не ведет.

— Н-нет, не поможет! — убежденно говорит словоохотливый пассажир. — Ишак — животное с ба-альшим характером. Я давно примечаю, что ишаки против всяких нововведений. Они против машин. Ишак скорей даст себя пополам перерезать, чем уступит дорогу машине.

Шофер, ругаясь, вылезает, подходит к ослу и непочтительно хватает его за хвост. Осел задом отъезжает с дороги и покорно остается стоять там, где его отпустили. На машину он не глядит, точно ее и нет.

Мы едем дальше.

Утром я просыпаюсь счастливым в чистой комнате беленького домика. Солнце слепит глаза. Я жмурюсь — хочется доспать. Но все равно горячие лучи слепят даже через веки. Засыпаешь — видишь золотистые сны, слышишь громкое пенье петухов.

Но пора на охоту — попытать счастья добыть трех фазанов. Я прицепляю на спину рюкзак, беру свою двухстволку и прощаюсь с гостеприимным белым городком.

Итти жарко. Цель моего путешествия далеко: ниже станицы Красногорской. Мне шагать туда целый день. Там по низким берегам Кубани густые кустарниковые заросли, и в них живут фазаны.

Я узнал, почему здесь разрешили охоту на них.

Кубань решено перегородить близ выхода ее из гор плотиной. Здесь построят электростанцию, а воду будут регулировать и направлять по сети арыков в сухие ставропольские степи.

Как только закроют шлюзы, вода над плотиной начнет прибывать, выйдет из берегов и зальет низину с густым кустарником над станицей Красногорской. Новые пашни раскинутся в бесплодных ныне степях, а фазаны найдут себе для житья другие места.

Передо мной поднималась гора тремя ярусами; она казалась не очень высокой. И в самом деле — на первый ярус я взобрался в какие-нибудь полчаса.

Тут была широкая терраса с кукурузными полями, с рощами. В тени кустов тек спокойный ручей. Я стал перед ним на колени и протянул руку, чтобы зачерпнуть воды и напиться.

Вдруг из-под самой руки у меня выскользнула небольшая серебристая змея, извиваясь, поплыла через ручей.

Ах, чтоб тебя! Гадюки здесь ведь страшно ядовиты. Хорош бы я был, если б нечаянно задел ее рукой. Тут, значит, надо быть осторожным, если хочешь прожить сто лет.

Снизу донесся выстрел, потом еще. По склону от террасы шел охотник, впереди него карабкался в гору желто-пегий пойнтер. Стая — или, как тут говорят, «гурт» — голубых птиц мелькнула над кустами и с тревожным криком расселялась по каменной россыпи. Птицы казались мне сверху не больше скворцов. Их было штук тридцать.

Мне знаком был их крик, я знал, что это горные куропатки-кеклики. Знал и то, что эти птицы ни за что не полетят вниз от охотника, пока есть возможность лететь вверх по горе. Я выбрал самую широкую расщелину в каменной стене, забрался в нее и стал дожидаться здесь кекликов, уверенный, что охотник нагонит их на меня.

Скоро из-под карниза опять раздалось два выстрела, и сейчас же показался гурт. Кеклики налетели прямо на меня, и мне удалось свалить двух из них, прежде чем они опустились в камни. Я подобрал добычу и долго не мог налюбоваться ею.

Кеклик побольше нашей серой полевой куропатки и много ярче ее.

Охотник с пойнтером взобрался на карниз. Я вышел к нему, и мы познакомились. Он оказался счетоводом из станицы Красногорской. Он охотно взялся помочь мне добыть трех дозволенных фазанов. Ночевал я ту ночь у него в станице.

Утром счетовод кликнул своего соседа — красивого пожилого казака. Сосед оказался Омелей — тем самым казаком, что просился без билета в автобус. Узнав, что мы за фазанами, он охотно согласился пойти с нами.

Мы — два охотника — направились низом, где заросли кустарников; Омеля — горой. Он был без ружья — «горовой».

Попасть в летящего фазана не так уж трудно. Трудно поднять его на крыло из заросли. При подходе человека он затаивается и лежит очень крепко.

Напрасно счетовод посылал свою собаку в кусты. Пойнтер долго не хотел идти туда, а когда, наконец, пошел, — разом скрылся с глаз.

Прошло пять минут, десять минут, — пёс не показывался.

— Значит, стойку сделал, — решил счетовод. — А то давно бы выскочил. Пойду искать его.

Скрылся и счетовод в кустах. Я остановился, стал ждать.

Не скоро раздались выстрелы. Но очень скоро после выстрелов выскочил из кустов пёс, а за ним и хозяин. У обоих был жалкий, истерзанный вид.

— Чорт их возьмет здесь! — ругался счетовод. — Стойки не держат, бегут от собаки; вырываются ни-весть где.

Рубаха его была в нескольких местах порвана. Пойнтер, изогнувшись, слизывал алую кровь с короткой шерсти своего тела.

Кусты, где прячутся фазаны, колючие: это — заросли дерезы и ожины, как здесь зовут ежевику — ягоду вкусную, но умеющую за себя постоять. В кровь исцарапашь руки, собирая ее.

— Пойду берегом Кубани, — решил счетовод. — Утром фазаны выходят из заросли, жируют в траве. А вы дождитесь горового: без него фазанов всё равно не увидишь.

Омеля, наконец, показался над обрывом. Мы потихоньку пошли вперед: я — внизу, между обрывом горы и зарослью, он — по краю обрыва. Я то и дело взглядывал на него: переключаться на фазаньей охоте нельзя; горовой знаками должен показать, где затаилась дичь, откуда заходить охотнику.

Не прошли мы и ста шагов, Омеля остановился. Как милиционер-регулирующий уличного движения, он поднял одну руку над головой, другой на уровне своих плеч показал влево. Я понял: дичь в чаще прямо передо мной, мне нужно обойти ее слева.

Я быстро обежал небольшую куртинку дерезы и оглянулся на горового.

Омеля, не опуская занесенной над головой руки, другой теперь показал вправо.

Я пошел прямо в кусты, но не успел сделать и десяти шагов, как с шумом и треском ракетой взвилась из кустов длиннохвостая круглокрылая серенькая фазанка. Я выждал, когда она, резко меняя вертикальное направление полета на горизонтальное, на миг остановилась в воздухе, — и выстрелил.

Перевернувшись головой вниз, фазанка упала в кусты.

Омеля захлопал в ладоши.

Я подобрал мертвую фазанку и пошел дальше вдоль кустов.

«Больше фазанок не буду стрелять, — решил я, — только петухов».

Время от времени Омеля останавливался и показывал руками, куда мне идти. Он направлял меня прямо на фазанов, но удача покинула меня: птицы или незаметно убегали от меня низом, или взлетали на таком расстоянии, что я зря только посылал им вслед дробь.

«И счетовод не настреляет. Верно, не вышли в траву фазаны».

Только я успел это подумать, с берега раздались выстрелы.

За высокой зарослью я не мог видеть охотника, не знал, в кого он стреляет и удачно ли. Но горовой с высоты видел всё. Энергичным жестом он показал мне: — летят сюда! И присел: дескать, спрячься.

Я отступил за кусты и почти тотчас же увидел летевших ко мне над зарослью птиц.

Птицы летели под самым солнцем. Еще невысоко поднявшееся солнце слепило меня, я не мог различить даже, какие птицы летят на меня; видел только блеск и мельканье их крыльев. И наугад выстрелил в одну из них.

Аплудисменты горового сказали мне, что я не промазал.

Я был очень доволен своим выстрелом, пока не разыскал добычи: это снова оказалась курочка фазана.

Тогда я решил подойти поближе к горовому и просить его направлять меня только к самцам-фазанам.

Я стал подниматься по некрутому здесь и каменистому обрыву; вдруг слышу над головой отчаянный крик Омели:

— Берегись! Гад!

Я не сразу заметил змею, а когда увидел — придется уж сознаться — струхнул...

Сверху между камнями двигалось ко мне гладкое коричневое пресмыкающееся. Я не видел его всего, но не сомневался, что оно в несколько метров длиной. Об этом говорила и необычайная толщина чудовища: круглое тело его было с мою руку.

— Бей, бей! — кричал Омеля.

Хвост чудовища извивался вверху, когда его голова

неожиданно поднялась над ближним ко мне камнем. Я выстрелил.

Длинное, гибкое тело змеи с разможжённой головой сползло к моим ногам, хлеща по камням хвостом, как плетью.

Тут только я понял, какого дурака сваял, напуганный истошным криком горového: ведь совсем забыл, что я не в Индии, не в Америке и что во всей нашей огромной стране нет гигантских удавов.

Я убил невиннейшее существо — желтопузика. Не змея он даже, а просто безногая ящерица, несколько не ядовит и никакого вреда человеку причинить, конечно, не может.

Вот и хвастай теперь ребятам, вернувшись домой, какое страшное приключение пережил, какой смертельной опасности подвергался и как, не растерявшись, от нее избавился.

А желтопузик попался, действительно, крупный: когда я поднял его за кончик хвоста и выпрямил вверх руку, его разбитая голова еще касалась земли. А это значит, что было в нем около двух метров.

Омеля не пожелал даже приблизиться к нему: казак испытывал суеверный страх ко всякому «гаду ползучему» и, хоть не раз, конечно, видал желтопузиков, живых и мертвых, не потрудился убедиться, что ядовитых зубов у них нет. Не пришлось и мне доказать ему это... по причине почти полного у желтопузика отсутствия головы, снесенной моим выстрелом.

Мы продолжали охоту.

Там, где гора ближе подошла к Кубани, Омеля увидел, наконец, самца-фазана. Направляемый ручной сигнализацией, я долго пробирался сквозь колючую заросль. Фазан взлетел только на ее краю, у самого берега.

И что же это был за великолепный петух!

Жарко брызнули мне в глаза блестящие краски его оперения: золотисто-зеленая голова, фиолетовая шея, оранжевая спина, медно-красный хвост.

Весь блеск южного солнца, всю роскошную пестроту неба, воды, цветов и бабочек счастливого Кавказа щедро подарила природа одной этой великолепной птице.

Такое это было чудное зрелище, что я на несколько мгновений забыл о ружье.

Фазан с треском помчался над берегом. Я спохватился и выстрелил ему вслед, когда он был уже над рекой.

Радугой сверкнув на солнце, фазан перевернулся хвостом вверх и упал в воду.

Напрасно, не щадя рук и одежды, бросился я через колючие кусты к реке. Быстрые волны Кубани подхватили мертвого фазана, закружили его в неистовой своей пляске и унесли на середину потока. Немного ниже по течению был пережат. Мокрого петуха у меня на глазах ударило два раза о камни, — и от всего его великолепия не осталось и следа.

Омеля ужом спустился с горы и побежал, пересекая мыс, на поворот реки — перехватить фазана ниже по течению. Но скоро и он вернулся. Подходя ко мне, развел руками: пустой!

Это был третий дозволенный фазан, и мне пришлось прекратить охоту.

Омеля проводил меня до автобусной станции на том берегу.

Подошел автобус.

Я простился с Омелей, сел в машину. Он ловко устроил мой рюкзак на коленях у озадаченного пассажира — моего соседа, захлопнул дверцу, кинул шоферу, как кучеру: «Погоняй!» и помахал мне шапкой.

Автобус зарычал, заскрипел, вздрогнул и медленно покатился по пыльной дороге.

Омеля надел шапку, вытащил из-за пазухи моего мокрого фазана и, подняв его за ножки, крикнул мне вдогонку:

— Бывайте еще! Придете — самоварчик поставим, уйдете — чайку попьем!

Мне было не жалко оставить ему на обед потерявшего всю свою красоту петуха. Я подумал только:

«Нет, проживу хоть до ста лет, а не устану восхищаться фазаньими чудными красками!»

Солнечные зайчики прыгали в листве фруктовых деревьев и весело подмигивали мне.



ЕМУРАНКИ

(Рассказ счетовода)

Прошное лето мы с нашим бухгалтером Ван Ванычем провели в Хакасской автономной области в Западной Сибири.

Поселились мы в избе у тетки Марьюшки, среди степи, на берегу большой реки Абакан, сбегаящей с гор.

Приехали мы сюда, надо прямо сказать, время провести и поохотиться. Однако охота начинается в августе, а мы приехали в середине мая. Ван Ваныч и говорит:

— Не сидеть же сложа руки, паразитами. Надо местному населению помочь. Будем вредителей истреблять.

— Вот дело! — подхватила Марьюшка. — Самые заглавные вредители наши — емуранки. Прямо хоть

хлеб не сей — всё потравят. Думаем, думаем, как извести емуранок, а толку нет.

Емуранки — суслики по-здешнему.

— Ну, — говорим, — Марьюшка, уж коли мы возьмемся, так от емуранок и следа не останется. Математически.

И стали мы с Ван Ванычем придумывать, как бы нам ловчей взяться за дело.

Я говорю:

— Очень даже просто: стрелять будем. Станем против норки и, как только эта самая емуранка выглянет, так — бац по носу, и дело с концом. Потом к другой норке. Нас двое. За день каждый из нас, наверное, уж штук по двадцать ухлопает.

До начала охоты два с половиной месяца, или семьдесят пять дней. Сорок на семьдесят пять — три тысячи. Это уж как на арифмометре. Три тысячи емуранок истребим, так километров на десять, наверное, ни одной этой емуранки и в помине не останется. Колхоз нам благодарственный адрес поднесет.

Тут хакаска вынула трубку изо рта, да как плюнет на пол!

Ах, да! Я про неё и забыл сказать. Оно и понятно: сидит и молчит.

Она частенько к Марьюшке наезжала. Слезет с коня — они тут все и бабы верхом ездят — и в избу. В избе на лавку сядет, сидит и молчит, трубку сосет. Марьюшка ее чаем поит. Чай с маслом: так ей вкусней кажется.

Целый самовар хакаска выпивает — и ничего. Сидит — даже серьги в ушах не шелохнутся. А серьги у нее замечательные: сперва веревочка, потом из проволоки кольцо, потом бомбошка какая-то, потом полтинник серебряный. Чуть колыхнись — звякнет.

Марьюшка-то перед ней разливается и о том и о сем, про нас всё выложила: зачем приехали, да откуда, да что делать задумали.

Хакаска трубочку свою потягивает, глядит на нас, а сама — как памятник. Лицо неподвижное, узкие глаза прищурены, как от дыма, в уголках — морщинки.

Марьюшка всё ее хвалила: умная, говорит, женщина, справедливая. Хакаска — председательница колхоза.

Так вот: плюнула хакасска, сказала Марьюшке три непонятных слова и вышла из избы.

— Чего это она? — спрашиваю у Марьюшки.

— Да так... Еще, поди, обидитесь...

— Ну, говори, говори!

— Да по-нашему сказать: дурак, говорит, дурака высидел.

Плюнул тут и я с досады. Да ну, думаю, стоит внимание обращать! Надо за дело приниматься.

В тот день набили мы с Ван Ванычем маленьких патрончиков, чтобы пороху да дроби много не тратить: емуранку-то пустяк убить — трех дробинок хватит. А утром отравились в степь. Ван Ваныч к одной норке стал, я — к другой.

Надо сказать, издали видели мы, как эти емуранки у своих норок столбиками стоят, а как стали подходить, засвистели они — и все как сквозь землю провалились. Ну, да ведь голод не тетка: выйдут, как есть захочется.

Но и пятнадцать минут прошло, и полчаса, и час, а нам с Ван Ванычем ни одного даже выстрела сделать не удалось. Мелькнет в норке головка и исчезнет. Ружья поднять не успеешь — где уж тут выстрелить!

Потом еще хуже стало. Вдруг свистнет где-то сзади. Обернешься быстро-быстро — только хвостик увидишь, как он в норке исчезнет. Так со всех сторон — норки ведь кругом — то тут свистнет, то там. Вертишься, как огородное пугало на ветру, а толку нет. Разыгрывают нас емуранки, прямо разыгрывают!

Часа три промаялись. Ван Ваныч и говорит:

— А ну вас, — говорит, — с вашим арифмометром! Ясно, — говорит, — просчет у вас получился. У меня лысина от солнца разболелась, я домой пойду.

Я остался. Очень уж хотелось доказать, что я прав.

Сел. Ружье на колени приладил: на весу-то держать тяжело. Навел дуло прямо на норку. «Мелькнет, — думаю, — в норке, я его и...»

Мелькнуло. Я — бац! Пыль столбом. Подбежал к норке — ничего нет.

Стрелял я так, стрелял, — все патроны кончил. Одну емуранку убил. А назад шел рекой — уже смеркалось.

Вижу, хакасска Марьюшкина на коне неподвижной тенью чернеет над берегом Абакан-реки, вниз уставилась — на воду, в берег ли, — не знаю.

С крыльца я обернулся — она передвинулась, в другом месте над берегом стоит. И всё, как цапля, в воду глядит.

На другой день Ван Ваныч говорит мне:

— Ясно, ваш способ никуда не годится. Кустарный способ. В таком деле надо в технике быть хорошо подкованным, современные достижения знать.

— Пожалуйста, — говорю, — поищите достижения техники, Ван Ваныч. А я постараюсь пока заснять этих самых емуранок.

Каждое утро стал я в степь выходить, емуранок караулить. И тут у меня ничего не выходило. Уж я аппарат на треножник прилаживал, сам в сторонку отходил. Столько пластинок испортил. Нет, не даются зверушки заснять, хоть ты плачь!

Хакасска-председательница что-то к Марьюшке бросила ездить. Зато каждый день с утра до ночи можно было видеть ее на берегу Абакан-реки. С ней теперь была целая артель хакассов, мужчин и женщин с лопатами. И чего-то они всё рылись там на берегу.

Потом они бросили приходить, и я пошел посмотреть на их работу.

Берег разрыт был, но к чему — непонятно. До воды оставалось еще очень далеко, несколько метров. Наверно, хотели воду куда-нибудь отвести, да убедились, что не так-то просто, и бросили.

Дни стояли ясные, и я всё со своим аппаратом за емуранками охотился.

Наконец, как-то ночью гроза разразилась. Да не над нами, а в горах где-то. Гром, молния, шум далекий, а у нас — ни дождинки.

Утром встаем — всё гремит, тучи клубятся над горами. А над нами — чистое небо.

Я — скорей аппарат подмышку и, без всякого чая, шасть в степь.

Дело в том, что в норке у емуранок народились малыши и стали уже носы на свет выставлять. Малыши, известно, не так сторожки, как взрослый зверек. И я рассчитывал сегодня непременно хоть два-три удачных снимка сделать с них.

На берегу Абакан-реки чернела в седле хакасска. Увидев меня, она вынула трубку изо рта и что-то мне закричала. Но мне было не до нее. Я отмахнулся рукой и побежал от реки к одному местечку в степи, где еще вчерашний день наметил себе норку с емуранчиками. Я очень спешил, потому что в горах всё еще гремел гром и я боялся, что тучи надвинутся к нам, польет дождь, и уж тогда, конечно, нечего и думать снимать.



Емуранка-мамаша стояла столбиком у норки. Когда я подошел, она резко свистнула и провалилась под землю.

Я установил аппарат в полутора метрах от норки.

И вот, наконец-то, мне повезло: через несколько минут из норки высунулась словно бы мышка. Черный глазок, черное ушко.

Я — щёлк!

Зверюшка мгновенно исчезла в темной норке. Но было поздно: моментальный снимок был готов.

Не прошло и пяти минут, как снова из норки показалась тупенькая мордочка и сейчас же за ней другая, такая же. Братишки застыли, глядя на меня, как птицы, одним глазом. Ждали, когда я уйду, чтобы выскочить из норки.

Чик! — оба они попали ко мне на пластинку.

В это время я услышал позади себя какой-то странный шелест, шипение какое-то и тревожные свистки емуранок. Оглянулся... и чуть было не опрокинул аппарат на землю.

По степи прямо на меня широким ровным потоком шла вода.

Быстро и бесшумно она разливалась вправо и влево.

Я даже не успел сообразить, откуда вдруг взялась тут вода. Я подхватил аппарат и побежал вправо, к дому.

Поток быстро настиг меня, и через минуту я бежал уже, как по мелкому морю, по колено в воде. Со всех сторон вокруг меня выскакивали из воды емуранки. Завидев меня, с писком кидались назад, в норки; я видел темные отверстия их норок сквозь совершенно прозрачную воду. И емуранки сейчас же снова выскакивали из затопленных норок.

Вокруг меня барахтались в воде мыши, что-то черное проплыло мимо, фыркая. Кажется, это был крог.

Как я потом жалел, что не заснял эту замечательную картину! Но в те минуты мне было не до того.

Вода прибывала с изумительной быстротой. Уже вся долина Абакан-реки — долина в три километра ширины — была под водой. Это был настоящий потоп. И я не знал, остановится ли, наконец, вода, или мне суждено так и погибнуть в ней.

К счастью, до избы было недалеко. Ван Ваныч и Марьюшка стояли на крыльце. Марьюшка ахала, всплескивала руками и жалобно причитала. Вода доходила мне уже до пояса.

Когда я вошел в избу, первое, что я увидел, была хакасска-председательница. Она сидела на лавке, ее лицо было так же неподвижно, как всегда, и, как всегда, она одной рукой придерживала трубку, спокойно глядела узкими прищуренными глазами — и молчала.

— Вода схлынет через несколько часов, — сказал Ван Ваныч. — Но во всей долине Абакан-реки не останется ни одной емуранки, ни одного вредителя-грызуна, даже мыши. Я сдаюсь. Вот эта гражданка, — Ван Ваныч указал на хакасску, — оставила нас обоих с носом. Ясно.

Я перевел глаза на нее.

Всё та же неподвижность. Легкий дымок из трубки. Прищуренные бесстрастные глаза.

— Но откуда она могла знать... — начал я.

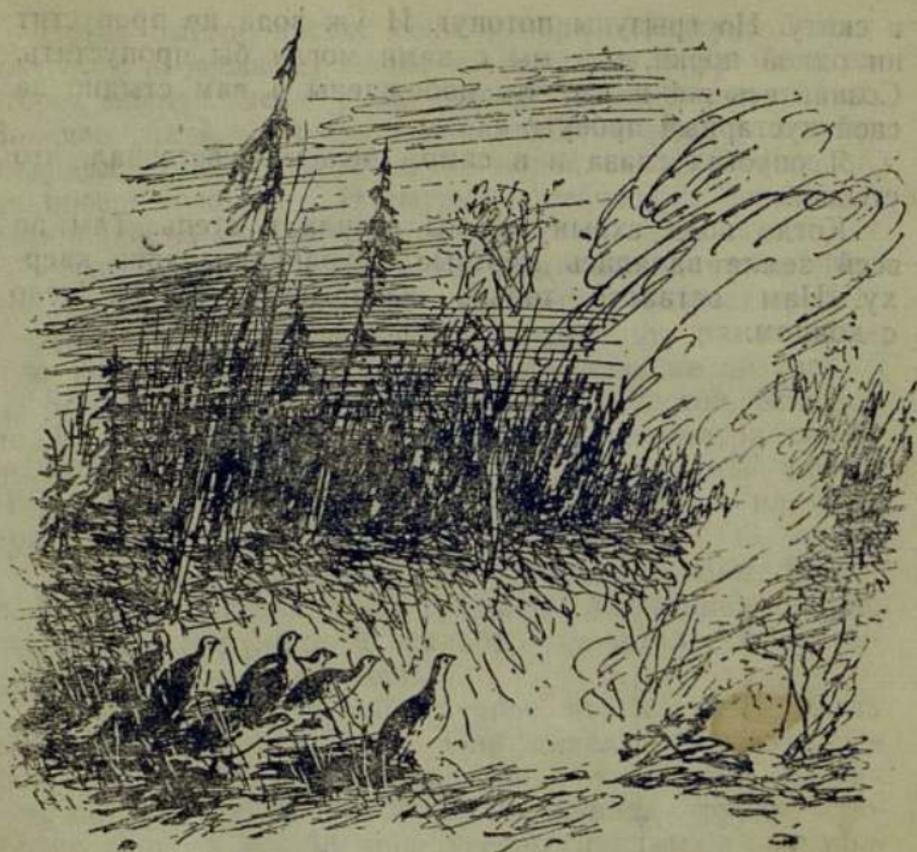
Ван Ваныч меня перебил:

— Ясно: она знала, что уровень воды в Абакан-реке разом поднимется на несколько метров, когда в горах выпадет большой дождь. Она приготовилась к этому дню: прорыла берег настолько, чтобы большая вода хлынула в степь. Серьезными бедствиями человеческому населению мелкое наводнение не грозит, не грозит

и скоту. Но грызуны потонут. И уж вода не пропустит ни одной норки, как мы с вами могли бы пропустить. Сознайтесь же и вы, что побеждены и вам стыдно за свой кустарный проект?

Я опустил глаза и в самом деле почувствовал, что стыдно.

Когда вода схлынула, мы вышли в степь. Там по всей земле валялись мертвые емуранки — лапки кверху. Нам осталось только закапывать их, и дело с концом.



ТАЙНА НОЧНОГО ЛЕСА

(Рассказ юнната)

Здóрово мне хотелось добыть белую куропатку. В наших местах это редкая дичь. Подпускают куропатки близко, да всегда так неожиданно, с лаем срываються, что каждый раз вздрогнешь, и пока сообразишь, что да как, они уже далеко. Ну и смажешь, конечно.

А вот Кузя-пастушонок нет-нет да и принесет из лесу, где лошадей пасет, две-три штуки. И ружье-то у него — бердана какая-то допотопная, вся в дырках, на двадцать шагов с подбегом бьет. А вот поди ж ты! Умеет добыть.

Все-таки я у него выпытал, как это он ухитряется. Оказывается, он их ночью бьет. Разведет на мшарнике костер и спрячется рядом в кусты. И белые куропатки целым выводком приходят к костру. Тут уж, конечно, не штука в них, в пеших-то, попасть в десяти шагах.

Мне тут расхотелось добывать: другое совсем в голову пришло. Я же ведь не просто охотник, а естественный испытатель. Орнитолог — специалист по птицам.

Почему это, думаю, другие лесные куры — глухарь, рябчик — никогда к костру не летят, а куропатка идет? Зачем?

Что насекомых влечет к себе свет в ночи, всем известно. Я сам ловил бабочек на велосипедный фонарь. Они летят прямо на огонь, и если бы не стекло, тут им и крышка: сожглись бы. Но ведь на то они и насекомые — животные безмозглые.

А куропатки что будут делать, когда подойдут к костру? Неужто, зачарованные пламенем, тоже кинутся в него, погибнут, как бабочки?

Не может быть! Скорее, пустятся в пляс вокруг костра, как настоящие огнепоклонники, или как наши юннаты, когда выберутся в лес и в первый раз после города запалят костер.

Или, может быть, куропатки подойдут к костру и чинно рассядутся вокруг него всем семейством? И папаша с мамашей будут объяснять детям на своем удивительном курино-собачьем языке, на каком не говорят никакие другие птицы:

— Ко-ко-ко, — дескать, — это, детушки, огонь! К нему не подходите, гав! гав! гав! Обожжет!

Или, может быть, совсем не красота пламени на них действует, а просто они приходят погреться у костра?

Ведь кто его знает, какие неожиданные тайны можно подсмотреть ночью в лесу у костра! То есть, не сидя у костра, а вот как Кузя: со стороны.

В том-то и дело, что охотник, когда разложит огонь, сам около него сидит — на свету. Всем лесным глазам его видно, а он — как слепой: ничего не знает, что вокруг него в темноте делается.

И я решил во что бы то ни стало узнать: чем таким

это привлекает куропаток огонь? С помощью Кузи, конечно.

Мы пошли в лес с вечера. И сразу нам повезло.

Встретили колхозников на моховом болоте. Они шли с большими корзинами клюквы за спиной. Не успели дойти до нас, вдруг у них из-под ног с лаем вырвался старый куропач, а за ним и весь его выводок.

Кузя хотел даже на счастье пальнуть в стадо, да я удержал его:

— Брось ты! Что ты, не понимаешь: распугаем сейчас, — они ночью не придут. Пока не подсмотрим, чем они у костра занимаются, о ружье забудь. Понятно?

— Тоже мне! — рассердился Кузя. — Командир нашелся!

— Обожди еще, может, они сами в костер бросятся, сами зажарятся. Готовое жаркое получишь.

Кузя сразу повеселел.

— А и правда! Чего заряд даром тратить?

Теперь мы знали, что выводок здесь есть. И, конечно, заметили, куда он переместился. В угол болота перелетел. Там, на опушке леса, мы и собрали груды сушья и смолья.

Поужинали всухомятку.

Наконец, наступила ночь. Черная, прохладная, настоящая августовская ночь с Млечным путем и падающими звездами — всё, как полагается.

Мы разожгли костер и засели в кустах, шагах в пяти друг от друга. Кузя левее, я правее.

Сушняк пылает ярко; поблизости каждая кочечка, каждая мшинка на ней видна. Но я нарочно отвернулся, стал смотреть на лес позади: какой он при огне? Ведь сразу куропатки не придут же. Кузя говорил — другой раз часами ждет.

Вдруг слышу сзади тихонько так:

— Эрр-рэк-кэк, ор! Го-кок-ко!.. Гау!

Быстро оборачиваюсь: идут! Куропатки!

Гуськом идут. Одна, другая, третья...

Не успел сосчитать — ббах! — слева.

Дернул-таки Кузя из своей берданы! Не выдержал!

Одна куропатка упала. Остальные, конечно, сорвались и с треском и лаем в один миг исчезли в темноте.

— Спятил! — кричу на Кузьку. — Котлету из тебя сделаю!

Только сучья по лесу затрещали: удрал Кузя.

Не гнаться же за ним в темноте!

Подобрал я убитую куропатку и тут же решил, что Кузьке ее не отдам: пускай чувствует! Раскидал костер, огонь затоптал.

А что больше делать? Второй раз куропатки не придут — не дуры.

Хорошо, что Кузька на другой день не попадался мне на глаза: злой я ходил, ух! Подумать только: теперь уж я, может быть, знал бы такую интересную тайну ночного леса! Первый на всем свете узнал бы ее!

Мысль, зачем приходят куропатки к костру, всё не выходила у меня из головы. Наконец, я решился пойти один на болото — караулить.

Три дня выждал, чтобы куропатки забыли, как Кузя по ним грохнул, и пошел на то же место.

Всё так же сделал, как тогда. Забрался в кусты и жду.

Не очень-то весело одному в лесу черной осенней ночью. Я зарядил ружье разрывной пулей: не от страха, конечно, а мало ли что может случиться? Может, медведь из лесу выйдет. Что же мне — шапкой от него отбиваться?

Долго я сидел — ждал. Закоченел совсем.

«Пойду, — решил. — Все равно толку никакого не будет».

Взглянул подальше, где уже свет от костра слабее.

Что там такое?

Чьи-то большие желтые меховые туфли передвигаются между кочками! Крадутся к костру...

А ног не видно.

Я, конечно, нисколько не струсил. Присмотрелся — а это белые куропатки идут! От костра они желтыми кажутся.

Впереди, видно, старый куропач идет, папаша: большой очень, краснобровый. Сзади маленькие поспевают.

Папаша влез на кочку, головку назад повернул и говорит так вполголоса:

— Эрр-рэк-кэк-кэк, вор!

Потом какие-то звуки, вроде слов:

— Ковар-рство, ковар-рство, гау!

Из темноты в ответ ему мякнуло:

— Ми-у! Ми-у! — Очень нежно. Наверно, самочка.

И тут из-за кочек выскочило всё семейство, штук пятнадцать. Куропач прыгнул с кочки, пошел к костру, и все за ним гуськом.

А он опять: «Ковар-рство! Ковар-рство! Вор!»

Я подумал: «Улетят сейчас!»

Вдруг — ббах! И нет куропаток...

Что такое? Кто это? Не сразу даже сообразил, что сам же и выстрелил.

И даже одной куропатки мне не досталось, как после Кузиного выстрела. Ведь я пулей саданул и промазал, конечно. Орнитолух...

Так до сих пор и не знаю, что куропатки делают ночью у костра. А как хотелось бы знать!

Может, у кого из вас хватит выдержки подсмотреть? А, ребята?



ЗАЯЦ-ВСЕЗНАЕЦ

Пришли ко мне из соседнего колхоза два охотника. Завернули табачку, поговорили о том, о сем, потом старик и говорит:

— А мы до тебя с делом. Как есть ты человек ученый, каждую животную по имени знаешь, верно и нам пособить можешь.

— А что такое? — спрашиваю.

Молодой усмехнулся, говорит:

— Сказать стыдно. Заяц нас забирает. Каждый день в колхозном огороде, одной капусты сколько потравил. Здоровый русачина.

— Так застрелите его.

— То-то вот и есть, что не дается никак. Уж мы его и с собаками имали, и самострел ладили — нет на

него погибели. Видеть — видим, а взять — вот пойді ты: как сквозь землю уходит. Уж девки над нами смеются — срам и срам.

— Искушение, — забормотал старик. — Хоть попа зови с кадилом. Намедни шли мы с поля, а он как порскнет из-под ног! Я в его топором, сам поскользнулся да в яму — ух! Весь в грязи вылез, ребята зубы скалят. А он сгинул, как не бывало.

— Чепуха какая, — сказал я. — Заяц как заяц. Чем топором швыряться, вы бы его из ружья ахнули: никуда бы не ушел.

— Пробовали и с ружья, — сказал молодой. — Видали ведь мы зайцев, сами охотники. Уж как хотите, а этот русак не простой. И ловушки знает, и ружье знает, и собаку со своего следу сбить знает. Прямо сказать — заяц-всезнаец. Пойди сам спытай, коли не веришь.

— Приходи, сделай милость, — сказал старик. — Может, и повезет тебе счастье. За тем и пришли до тебя.

— Конечно, завтра же буду у вас. Только одно: я убью вашего русака, а вы скажете — не тот.

— Не-е, — протянул молодой и поглядел на старика, — этому не бывать. Скажи-ка им, дядя.

— Что еще? — удивился я.

— А то... — начал старик и запнулся. — Того... Ты, может, за глупых нас считаешь. Да уж всё одно: придешь, своими глазами увидишь. У того русака на спине деревянная ручка приделана.

Я чуть не прыснул со смеху.

— Ну, дядя, хватил! Уж если ручка приделана, так остается, как говорится, выкрасить да выбросить вашего русака, и дело с концом.

Старик ничего не сказал, даже не улыбнулся. Молодой ослабил и проговорил как бы с извинением:

— Самим не верко, да вот приходи давай, поглядишь. Может, по-вашему, по-ученому, оно и просто объяснить.

Завернули еще по цыгарке, простились и ушли.

Задумался я. Вижу, дело серьезное, и взяться за него надо немедленно. И не в том беда, что заяц немножко капусты колхозной попортит, а в том, что вокруг него тайна: «ручка» какая-то на спине и эта не-

понятная способность уходить от ружей, собак и ловушек. Где темная тайна, там быстро растут шопотки да слухи и вырастают глупые суеверия. В памяти деревни пробуждается старый мир, леса и болота, населенные животными-оборотнями, лешие, водяные и всякая нежить. И вон уж — про попа с кадилом поминал старик.

Я решил зайца этого во что бы то ни стало добыть и все его тайны распутать от начала до конца.

Принялся за дело утром на следующий день. Крикнул свою охотничью собаку, взял ружье — и отправился в соседний колхоз.

Молодой охотник повел меня на огород недалеко от деревни, куда, по его словам, каждую ночь приходит таинственный русак. Показал мне дыру в частом осеке¹ и настороженный здесь лук-самострел. Ловушка была так налажена, что и крыса не могла бы проскочить в огород: стрела бы непременно ее пронзила. Дыра в осеке перетянута крест-накрест совершенно незаметным даже вблизи конским волосом. Стоит коснуться волоска — самострел разрядится, и стрела полетит прямо в дыру.

Я и стрелу осмотрел: длинное древко и на конце трехзубая железная острога, какой бьют крупную рыбу с лодки, только маленькая.

— Сам в кузнице делал, — сказал охотник с гордостью. — Глянь, зубья-то какие: уж не сорвется.

На железных зубьях были большие зазубрины, язычки, как на рыболовном крючке.

Я спросил:

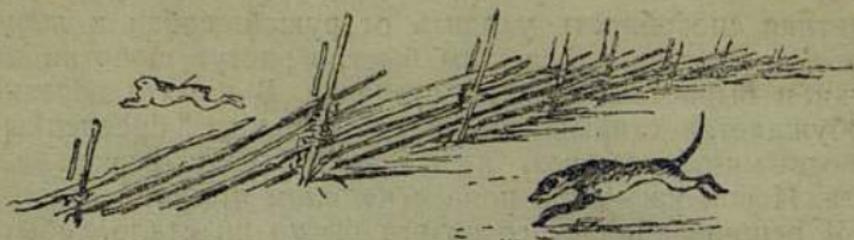
— Попадался кто-нибудь в эту ловушку?

— Как не попадаться! Четверых зайчат да двух матерых русаков взял за лето. А весной — тогда еще всезнаец-то заяц не приходил — я иду раз утром, гляжу: тетива спущена, а никого нет. И стрелы нет. Так ее и не нашел, пришлось новую сделать.

Пока мы стояли, разговаривали, моя собака тут же у самострела подхватила след, затавкала и пошла скакать через гряды картофеля. Я скинул ружье с плеча и приготовился стрелять.

— Пошел, пошел! — закричал охотник. — Вон стегает.

¹ Осек — забор из кольев и жердей.



Здоровый русачина дул через грядки, и я различил на рыжей его спине белую деревяжку величиной с обыкновенную дверную ручку.

До зайца было шагов шестьдесят, ни секунды нельзя было медлить. Я выстрелил как раз в тот момент, когда русачина широким прыжком легко, как кузнецик, поднялся на воздух — перемахнуть осек.

То ли я промазал с непривычки стрелять «в лёт» по зайцам, то ли еще что, только дробь моя никакого вреда русаку не причинила. Он с невероятной быстротой понесся по полю, а вслед за ним перескочила осек и помчалась собака.

— Видел? — коротко спросил молодой охотник.

— Ничего не доказывает. Собака завернет его, а я возьму дробь покрупней.

— Идемте, — согласился охотник. — Только наперед скажу: уйдет он и от собаки.

— Посмотрим.

К большой моей досаде, охотник оказался прав. Мы видели, как заяц, далеко опередив собаку, пересек поле и направился прямо к железнодорожному валу. Как раз в это время с грохотом и лязгом мчался по насыпи скорый пассажирский. Заяц исчез в кустах под насыпью, и вагоны прогрохотали у него над головой.

— И машину знает, — сказал охотник. — Не боится ее ни вот столько. Говорю: заяц-всезнаец. А теперь — нам его сегодня больше не видать. Он как дойдет до тех кустов, так здесь и сгинет.

И опять он оказался прав.

Напрасно с лаем носилась моя собака по кустам, напрасно я прыгал с кочки на кочку в этом болотистом кустарнике. Заяц исчез.

— Каждый раз вот эдак сквозь землю уходит, и все на этом месте, — говорил молодой охотник.

Целый день я отыскивал зайца. К ночи вернулся домой усталый и, надо правду сказать, сильно обескураженный. Орешек оказался крепче, чем я рассчитывал.

Скоро проклятый русак изменил всю мою жизнь. Я забросил работу, вставал с восходом и уже хорошо знакомой дорогой отправлялся на колхозный огород. Почти каждый день я заставлял там зайца-всезнайца, но выстрелить по нему мне больше ни разу не удалось. И каждый раз я терял его из виду в кустах уполотна железной дороги.

В колхозе уже посмеивались надо мной.

— Что, паря, заяц-то, выходит, умней тебя?

И когда я, наконец, явился без ружья и без собаки, старик-охотник презрительно улыбнулся и как бы про себя сказал:

— Видать, нечистая-то сила шибче твоей учености.

Я промолчал: у меня был свой план.

На холме за полотном железной дороги стояла дозорная вышка. Я попросил молодого охотника через полчаса прийти с его собаками в огород, а сам прямо отправился к этой вышке и залез на самый верх. Как только я заметил, что охотник приближается к огороду, я поднял бинокль и уж не отнимал его от глаз, пока первая тайна зайца-всезнайца не была разгадана.

Я видел, как на ладошке: русак перемахнул осек, пересек поле и скрылся в кустах у железнодорожной насыпи. Я стал водить биноклем по рельсам в одну и в другую сторону: у меня была догадка, что заяц, может быть, взбегает на насыпь и удирает по ней.

По рельсам проходил длинный товарный поезд, но русака ни впереди, ни позади него не было.

Кусты были по правую сторону полотна. Я посмотрел по эту сторону на поле и вдруг увидел на нем как из-под земли выскочившего зайца. Это был заяц-всезнаец: в бинокль ясно различил я белую деревянную ручку у него на спине.

Он тихонько приблизился к маленькому островку деревьев — к рощице посреди поля — и скрылся в ней.

Еще минут пять я не отнимал бинокля от глаз: следил, не выйдет ли заяц из рощицы. Он не вышел. Значит, лёжка его была там, в роще.

Не слезая с вышки, я окликнул охотника. Он поднялся на вал.

Я крикнул ему:

— Возьмите собак и ступайте вон в ту рощицу. Ружье приготовьте: заяц там.

А сам опять приложил бинокль к глазам.

Добрые гончаки живо прихватили след, залились и на полный ход помчались к рощице. Я боялся только, что охотник не сумеет занять настоящего лаза, чтобы застрелить русака, когда тот выскочит из рощи.

Случилось другое.

Охотник занял хорошую позицию в поле за кусточком. Собаки с лаем дали несколько кругов по роще и вдруг выскочили в поле.

А заяц так и не показался.

После тщетных розысков охотника, самолично обшарившего всю рощицу, мне стало ясно, что тут мы наткнулись на вторую тайну зайца-всезнайца. Я ведь знал наверно, что он сидит в этой рощице: кругом было чистое, ровное поле, и я бы непременно увидел зайца, если б он выскочил.

Я слез с вышки. И в этот день мне удалось разгадать только первую тайну зайца-всезнайца: как он сбивает собак со следа в кустах у насыпи.

Неожиданно правы оказались именно охотники-колхозники: русак здесь действительно сквозь землю проходил.

В железнодорожной насыпи была труба, какие прокладывают, чтобы пропустить ручеек, размывающий вал. Местность была болотистая. В кустарнике у насыпи скапливалась вода, а прежде, вероятно, когда строили дорогу, тут и ручеек бежал. Заложили трубу. С тех пор низкое место под насыпью заросло кустами, вход в трубу стал незаметен.

Русак знал его и свободно проходил сквозь трубу. Собаки тут пролезть не могли.

Я попросил молодого охотника никому не говорить про мое открытие, пока я не добуду зайца: ведь вместо одной загадки передо мной встала другая. Я ума не мог приложить, куда он девался из рощи. Не на воздух же поднялся!

Взять зайца-всезнайца теперь уже было просто: надо было мне только стать с ружьем по ту сторону насыпи

у трубы, а охотника попросить спугнуть русака из огорода. И косой, проскочив трубу, дался бы прямо мне в руки.

Но загадка его исчезновения в роще оставалась неразрешенной, и я дал себе слово взять хитрого русачину только на его лёжке. Уж очень интересно было распутать все его хитрости.

Но и эта задача оказалась трудней, чем думалось.

Напрасно ходил я четыре дня подряд с ружьем и собакой, напрасно изучал каждый метр земли в роще. На земле были заячьи следы. Они кружили и переплетались чуть не под каждым деревом. И каждый раз были свежие следы: собака волновалась и лаяла. Но распутать их не было никакой возможности и нигде не было ни признака лёжки.

Лёжка русака — это обычно простая ямка где-нибудь под кустиком, или под камнем, или под кучей хвороста. Я уж готов был допустить, что этот удивительный русак — заяц-всезнаец — делает себе нору, зарывается в землю, как кролик. Но и норы нигде не было, рошица была без подроста, всё видно в ней, каждый следок на земле и большая черная лужа посередине. Спрятаться здесь заяц никак не мог. И сколько я ни ходил в рощу, я ни разу его тут не видел.

Тогда я опять взялся за бинокль. Только в этот раз полез не на вышку, а на кудрявую иву, с которой хорошо просматривалась роща.

Ждать пришлось недолго: ведь теперь уже я хорошо знал, в какие часы заяц-всезнаец закусывает на огороде и когда приходит вздремнуть в рошице.

Скоро я увидел, как он появился из трубы под насыпью. Он спокойно пересек открытое поле и прошел прямо под тем деревом, где я сидел. Конечно, ему и в голову не пришло посмотреть вверх. Он даже и не подозревал о моем присутствии, а я разглядел в бинокль каждый его волосок. И таинственную деревянную ручку у него на спине.

В первый раз со дня знакомства с зайцем-всезнайцем выспался я крепко. Утром встал поздно, поработал и только после обеда отправился в соседний колхоз — с одним ружьем, без собаки.

Я пригласил с собой старого охотника, молодого и еще несколько стариков и молодежь. Я объявил им,

что у них на глазах убью всем им известного зайца-всезнайца, которого они принимают за нечистую силу.

Мой уверенный тон сбил с толку насмешников. Перешептываясь между собой, они двинулись за мной.

Всё шло как по писанному.

Гончаки молодого охотника подняли зайца с огорода.

Заяц перемахнул осек, пересек поле и пропал в кустах. Собаки потеряли его след и вернулись в поле.

Я повел колхозников к насыпи и показал им трубу. Все ахнули, а старик-охотник пробормотал что-то насчет того, что ни один заяц в трубу не полезет, не кошка-де.

За полотном железной дороги собаки опять взяли след. Они обегали всю рощу и опять, смущенно поджав хвосты, вышли в поле.

Старик-охотник презрительно посмотрел на меня и хмыкнул. Молодой, наоборот, глядел на меня с доверчивым ожиданием.

Я просил его взять собак на сворку, сказал, что больше они нам не понадобятся. Он охотно повиновался.

Я привел компанию в середину рощицы, к большой черной луже, и снял ружье с плеча. Я сказал:

— Ваш заяц-всезнаец хитёр, как лисица. Он нашел себе удивительно безопасное местечко для лёжки. Вы стоите на двадцать шагов от него. Можете разговаривать, шуметь — заяц не выскочит и не побежит. Он знает, что ни человек, ни собака не найдет его в этом убежище.

Кто-то из колхозников недоверчиво спросил:

— Что ж, по-твоему, в эту лужу, что ли, он нырнул?

— Нырнуть не нырнул, а след свой в ней потопил.

— Полно морочить нас! — сердито вдруг заговорил старик-охотник. — Поди, не на дереве сидит, — он показал на дряхлую пузатую приземистую иву посреди лужи. — Не птичка, поди, чтобы по ветвям порхать. Ты, парень...

Я прервал его.

— Как раз на этом-то дереве он и сидит. Смотрите.

Я поднял двухстволку, хорошенько прицелился в иву над самой водой и выстрелил.

В ту же минуту сбоку из дерева с плеском стеганул в воду русачина.

Я не дал ему опомниться и замертво свалил его вторым выстрелом.

Все были так удивлены неожиданным появлением зайца с дерева, что молча стояли с разинутыми ртами.

— Пойдемте, — сказал я, — покажу вам, где он прятался.

Я вошел в лужу, и все пошли за мной.

Сбоку от того места, где мы только что стояли, в толстом стволе дряхлой ивы была большая дыра — дупло над самой водой. В нем на трухе было ясно видно небольшое углубление. В этой ямке валялись кусочки заячьей шерсти.

— Скажи ты... Лёжка! — ахнул молодой охотник.

Старик только сплюнул и зашлепал назад по луже. Но вдруг остановился, повернулся и с торжеством произнес:

— А ручку-то кто ему на спину приделал? Сам, что ли?

Но у меня и на этот вопрос был готов ответ. Когда я сидел на дереве и заяц-всезнаец проходил подо мной, я хорошо разглядел в бинокль эту «ручку».

— Не сам, — сказал я, — а вот кто ему приделал, — и я указал на молодого охотника.

До мертвого зайца было всего два шага. Я подошел к нему, поднял за деревянную ручку и отнес на берег. Вынул нож, подрезал кожу и мясо на спине, вытащил «ручку» и молча показал всем.

— Моей работы! — рассмеялся молодой охотник. — Сам в кузнице ковал. Уж назад не выйдет.

И он показал на острые язычки железных зубьев на конце «ручки».

Это был обломок стрелы самострела. Здоровый русачина унес стрелу на себе, обломал где-то древко — да так и проходил с железом в спине до самой своей смерти.





КАК Я ХОТЕЛ ЗАЙЦУ СОЛИ НА ХВОСТ НАСЫПАТЬ

(Рассказ пароходного механика)

Когда я был маленький, я думал: вот бы попасть в такую страну, чтобы ни птицы, ни звери меня не боялись. Бежит, например, заяц. Я ему крикну: «Зайка, зайка!» Он и остановится. А я его поглажу — ну, беги дальше!

А если волк... Ну, так я крикну: «Уходи, уходи прочь!» И он — во все лопатки. И чтоб к птице можно было подойти и разглядеть ее.

А то чижика какого-нибудь иначе как за двадцать шагов, да еще сквозь ветки и не подсмотришь — не подпустит. Чего там чижика, когда кошку чужую на лестнице не погладишь: она сразу спину дугой, хвост трубой — прыск, прыск! — и на чердак... А по лесу идешь, так будто и никакие звери там не живут: все

от тебя попрячутся и притихнут. Один раз белку видел — и то только хвост. Может, и не белкин.

Я больших спрашивал, есть ли такие места где-нибудь, чтоб звери к себе подпускали? А большие только смеялись и глупости говорили: «На́ вот, возьми соли, насыпь зайцу на хвост, тогда он тебя и подпустит».

И так было обидно! Я вырос, а обиды не забыл. Но уж надежды подманить зайца у меня, конечно, не осталось. Я уже моряком стал, пароходным механиком. Попал за границу, на датский китобойный пароход.

Киты, конечно, от нас удирали полным ходом. И было отчего: мы их из пушки били. Ядром. А впереди ядра приделана пика: называется гарпун. А от пики идет к пароходу веревка.

Но я смотреть на это не любил. Да и смотреть не на что было: сверху небо, внизу вода, а по воде лед. Мы всё время плавали в холодных странах.

Раз поднялась буря. Нас куда-то понесло. Я всё у машины сидел и не спрашивал, где это мы плывем.

Вдруг как-то слышу — наверху все кричат: «Земля! Трава, зеленая трава!»

Я не поверил и выскочил на палубу.

Смотрю — верно: берег, на нем зеленая трава, горы, на небе солнышко. Всем стало очень весело, даже петь начали.

Капитан остановил пароход, и все стали проситься на траву погулять.

Мы выехали на лодке на берег и давай бегать по траве. Я ушел совсем далеко за холмы, а когда устал, лег посреди луга.

Вдруг смотрю — что такое? Беленькое что-то. Я привстал. Смотрю: зайчик. Весь белый, настоящий зайчик.

— Смешно! — подумал я. — Зеленая трава, а заяц белый. У нас зайцы серые летом бывают.

Я боялся шевелиться, чтобы не спугнуть зайца.

Гляжу: и другой выскочил. А вот их уже три. Фу ты! Уже десяток!

Я устал неподвижно сидеть и шевельнулся. Зайцы посмотрели на меня и поскакали, да не от меня, а ко мне!

Что за чудо: обступили — их уже с сотню было вокруг меня — и разглядывают: что я за диковинный зверь такой?

Я двигался, как хотел. Даже папиросу закурил. Зайцы на задние лапки становились, чтоб меня лучше разглядеть.

Мне так весело и смешно стало, что я начал с зайцами говорить.

— Ах вы, шельмы! Да в самом ли это деле? Да неужто это бывает, чтобы зайцы не боялись? А вот я вас сейчас напугаю!

Зайцы только посматривают, ушками потряхивают.

— Да я вас из ружья сейчас!

Нарочно я: ружья-то у меня никакого не было.

Я как хлопну в ладоши да как крикну: «Пиф! Паф!»

Зайцы подскочили. Наверно, удивились: вот чудак какой! Но никто не побежал, а просто травку стали щипать — тут же рядом со мной.

Теперь вот если б была соль, можно б каждому на хвост насыпать.

Тут я хватился: на пароход, пожалуй, пора.

— Ну, — говорю, — прощайте, храбрые зайчишки!

И зашагал.

Смотрел только, чтоб на зайцев не наступить.

А куда итти? Где пароход, в какой стороне — совсем забыл!

Впереди были горы. Дай, думаю, залезу на гору: с высоты будет видно, где море. Оттуда сразу к морю и пойду. А на море — пароход.

Стал взбираться на гору. Вдруг смотрю: что такое — коровьи следы?

Да сколько! Да это целое стадо шло!

«Ага! — подумал я. — Коли тут стадо, значит, есть и пастух. Значит, здесь люди живут. Вот я пастуха расспрошу, почему у них зайцы такие храбрые».

А следы коровьи все уже да уже. Вот уж, видно, гуськом шли и дорожку протоптали. И дорожка ведет на кручу. Да так круто, что я уж стал на четвереньках царапаться. А сам думаю: мне здесь через силу, а как же коровам тут лазать? Удивительные какие коровы! Здесь только козам скакать.

И вот уж я долез до самого верха: вниз глянуть страшно. И вот передо мной камень; прямо не знаю, как влезть?



Я уцепился руками, поддал ногами и выскочил животом на камень.

Вот бы передохнуть!

Какое тут передохнуть! В десяти шагах от меня стоит большой рогатый зверь, весь лэхматый, шерсть до полу и на ногах — острые копыта. И прямо на меня глядит.

Поглядел немного и пошел на меня.

Я подумал: назад надо!

Да куда там назад: если мне с этого камня под кручу прыгать, так я покачусь вниз, как камешек, и останутся от меня одни дребезги. Туда вниз посмотреть — и то голова кружится.

А спереди этот — рогатый. Сейчас как боднет!..

У меня душа в пятки ушла. Закрыв я глаза со страху: будь, что будет!

И вот с закрытыми глазами слышу: зверь ко мне подходит. Вот совсем подошел...

Слышу, как жарко дышит...

Я не выдержал, один глаз приоткрыл; а мы с ним — нос к носу!

Он воздух ноздрей потянул, фыркнул в бок. Повернулся и... потихоньку пошел назад.

Я дух перевел: не хочет, значит, меня бодать! Раздумал.

Я встал на ноги. И вот что я увидел: целое стадо таких зверей, штук двадцать, паслось тут на горе. Каждый из них, если б захотел, мог меня забодать и растоптать. Но, видно, никто из них не собирался на меня нападать.

Я вдруг вспомнил, что видел таких на картинке,

даже вспомнил, как называются. Называется этот зверь — овцебык.

Я огляделся и там, за быками, увидел море.

Подумал: «Ничего, пока они меня не трогают, я, может быть, угляжу спуск и пойду вокруг горы».

Спуска я никакого не нашел. И тут услышал гудок нашего парохода. Это значит: хватились меня, зовут. А меня-то нет, и никто не знает, что я на этой горе. Людей тут нет. Пропаду!

Мне оставалось одно — итти прямо на быков. Эх, была не была! Распугаю.

А самому — во как страшно!

Я заорал не своим голосом, завертел руками, как мельница, и ногами затопал.

Быки все на меня оглянулись, своих телят и маток затолкали в середину, сами вокруг стали и рога вперед выставили.

Я сразу присмирел. И даже на землю сел.

А быки постояли, постояли, — видят, что я ничего не делаю, и опять взяли траву щипать.

А пароход гудит-гудит!

Я чуть не заплакал. Я снял фуражку и стал быкам говорить — никого не было, так что не стыдно.

Я сказал:

— Вы знаете, честное слово, мне просто на пароход надо! Я никому ничего не сделаю. Только, пожалуйста, пожалуйста, не бодайте меня, не кусайте меня!.. Я только пройду, честное слово!

Быки посмотрели, как я говорю, и ничего.

Я пошел. Прямо на стадо. Всё приговаривал сначала:

— Миленькие, я, честное слово, только так... Я на пароход.

Одного даже слегка погладил.

Потом пришлось протолкнуться между двумя. Тут уж я посмелей:

— Дорогу-то дайте же, в самом деле! А то стали — ни пройти, ни проехать!

Дальше смотрю: один лег как раз у меня на пути.

Я уж крикнул:

— А ну, вставай!

Лежит, проклятый, и ухом не ведет.

— Да вставай ты!

Я вплотную подошел и ткнул ему под брюхо ногой. Ух, шерсть какая на них большая! Сапог так и ушел, как в сено.

А бык ничего: только мыкнул; не спеша встал на колени, как домашняя корова, поднялся и отошел, нехотя, вбок. Я его еще ладошкой подтолкнул.

Я прошел через стадо, спустился с горы и побежал по долинке — скорей к морю! Пароход уже гудел тревожно.

Я бежал со всех ног. Всё думал, какие это быки на вид только страшные, мохнатые. А если их выстричь, как овцу, окажется легкая зверюшка, вроде козы. Понятно, что они на такие кручи царапаются: копытца-то у них какие острые.

Вдруг смотрю: что такое? Две собаки.

Нет, какие там собаки, — волки! Чистейшие полярные волки, этих-то я уж знаю. Не раз с парохода видел.

И бегут прямо на меня. Нюхают землю, меня не видят.

Ветер дул от них, и моего человеческого духа на них не несло. Они меня не чуяли и бежали, глядя в землю.

Я встал, как вкопанный: авось, не заметят, пробегут мимо.

А они всё ближе да ближе.

И тут, понимаете, что случилось: мушка, паршивенькая маленькая мушка села мне на нос.

Я рукой боюсь шевельнуть: где тут до мухи, когда волки сейчас съедят! А она, дрянь, на свободе расхаживает — да мне в нос.

И вот что тут случилось.

Защекотало, защекотало у меня в носу, я как чихну — ап-чих! Во весь дух!

Волки стали. На миг глянули на меня... да как бросятся наутек. Только я их и видел.

Я припустил вперед и скоро прибежал к морю. В лодке уж меня ждали, и пароход ругался — гудками, конечно.

На пароходе я спросил капитана:

— Какая это земля?..

— Восточный берег Гренландии, — ответил капитан.

— Ну, ладно, — сказал я. — Но что же это за страна такая? Ведь здесь всё шиворот-навыворот: зайцы сами тебе чуть за пазуху не скачут, диких быков — хоть поленом гоняй, а волки от человеческого чиху, как от пушки, — врассыпную!

И про себя подумал: «Совсем, как мне маленькому хотелось, чтобы соль на хвост сыпать».

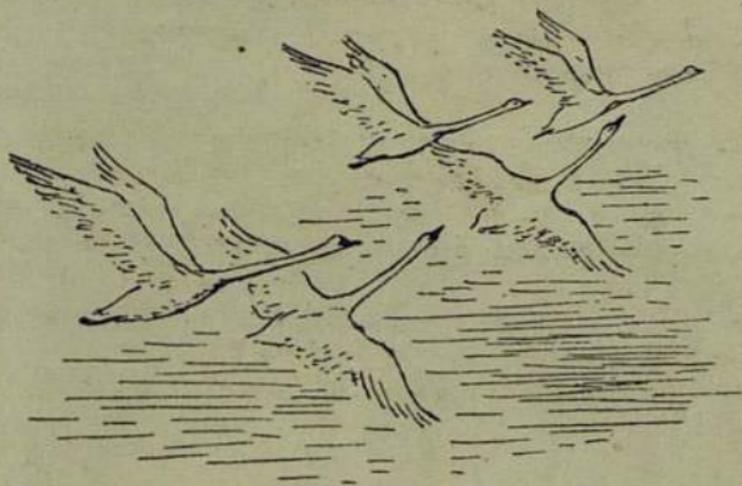
Капитан улыбнулся.

— А это, — сказал он, — это вот почему. Людей тут нет. И не было. Зайцы и овцебыки совсем с человеком не знакомы. И поэтому не боятся его.

— А волки почему же боятся? — спросил я.

— А волки перешли сюда недавно. По льду перешли, из Америки. И они отлично помнят, что такое — человек. И что за инструмент у него — ружье. Им и неохота связываться с человеком.

Вот что сказал мне капитан. И я думаю, что это правда.



ЗАДУМЧИВЫЕ РАССКАЗЫ



STAMPED TEXT, Faintly visible, possibly a library or archival stamp.

Vertical text or markings on the right side of the page, possibly a list or index.



РОЗОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ

Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.

В вате лежало маленькое яичко — такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.

Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной совершенной формы.

Сияющая оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без единого пятнышка, без малейших крапинок.

Внутри ее теплилась маленькая жизнь — неведомая, таинственная, ещё не готовая родиться на свет. Просвечивала и мерцала сквозь тонкую хрупкую оболочку нежно-нежно розовой теплотой.

Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне

живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешается с оливковым — получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое — чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое — чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.

У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.

В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но всё шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли ив и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.

Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.

Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.

Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, придвигаю к себе блюдечко, достаю булавку. Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко.

Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.

Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовой белой пушицей, — принялись они щелкать круглые сутки.

Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.

— Когда же они спят-то? — удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.

А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке — покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, — как они свистели, как щелкали!

Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.

Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает.

Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.

Вдруг резкий крик дергача резнул слух.

— Грязь-грязь! Грязь-грязь! — тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.

— Сало! Сало!

— Пёк, пёк, пёк! — легко, бархатисто выводят в кустах соловьи:

— Сало!

— Грязь! Грязь!

Так они долго, безустали спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.

Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач — сам по себе и соловьи — сами по себе. Сразу и вместе они и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.

Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко — в лядинке через дорогу от нас — в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.

Голос другого ниже и сильнее, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется — тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.

Но когда запел третий — душа всколыхнулась!

Ничего, что он всех дальше от нас — через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!

Его kloкочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «лешевой дудке».¹

Замер на низких и вдруг — фиулит! — вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.

— Здорово? — в восхищении спрашиваю Смирьку.

— Дивья! — притворно-пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: — А верно, что «петь великий мастерище».

Какая уж тут тоска: самому хочется петь и жить, жить — радоваться!

¹ Одно из колен соловьиной песни: сильный, резкий свист.

Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем — птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупке такой же чудесный дар песен?

Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.

В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки.

И скрипучий, неприятный птичий голос.

Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.

— Гляди, как я в нее! — кричит мне Смирька. — Прямо в лоб шмякнул!

Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток.

Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.

— Смирёха, Смирёха! — говорю я с тоской. — Что ты наделал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слушали.

— Не! — весело откликается Смирька. — Это вон какой птюшки, вон скрипит в кусту!

Серая птичка перепрыгивает невдалеке с ветки на ветку, дергает хвостом и скрипит, скрипит.

Откуда бы знать Смирьке, что прославленный соловей — «петь великий мастерище» — в тревоге за свое гнездо стонет неприятным, скрипучим голосом? И что могло помешать ему разорить гнездо этой невзрачной «птюшки», когда кругом все ребята, да и отцы их при случае, походя, разоряют все попавшиеся на глаза птичьи гнезда?

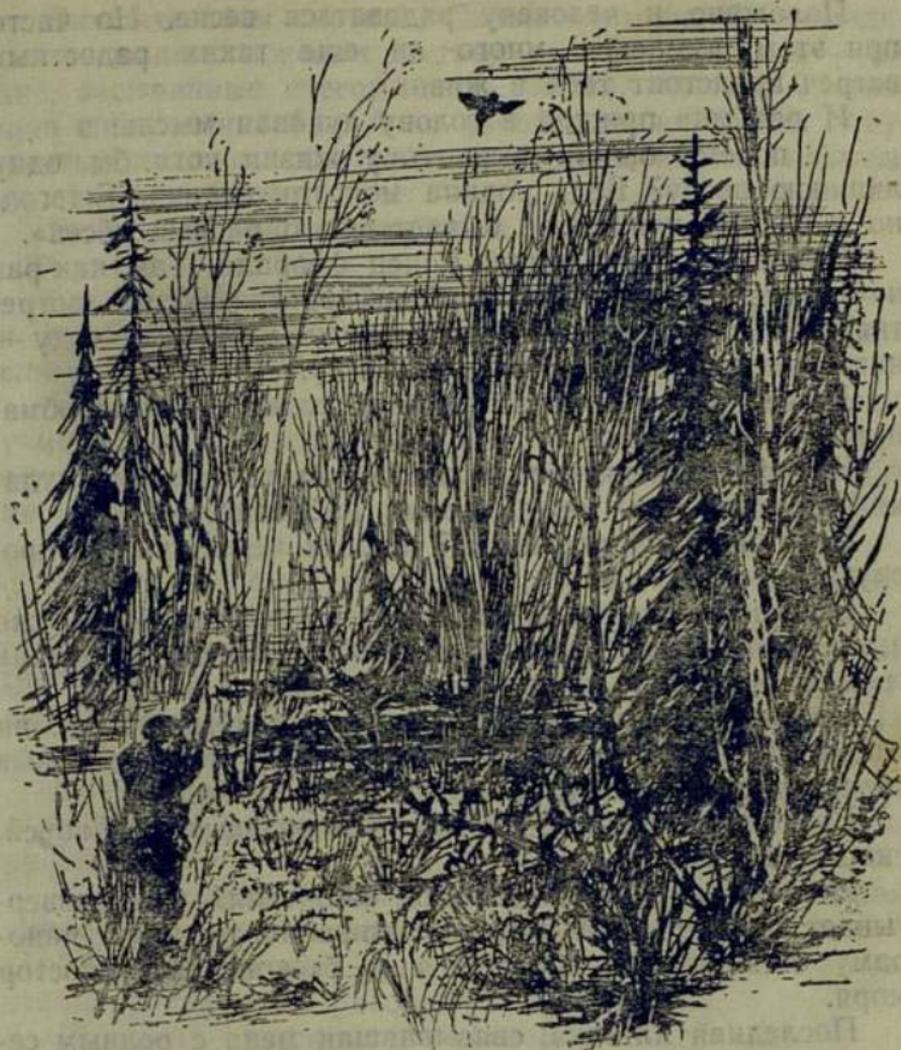
Больше мы со Смирькой не слышали нашего замечательного певца: соловей покинул заросли.

Оливковое яичко я выдул.

Никогда из него не родится крылатое существо с чудесным даром песен.

Розовое перестало существовать, но оливковое не рассыпалось в прах. Об этом позаботился я, поместив его в свою коллекцию.

Теперь я думаю: не повезу своей коллекции в город, отдам ее в сельскую школу, в ту самую, куда пойдет этой осенью Смирька со своими товарищами. Может быть, хоть соловьиные гнезда они перестанут разорять?



ДВОЙНАЯ ВЕСНА

Зимой в Ленинграде моим глазам и ушам работы мало. Но вот замечаю: на крыше подрались воробьи. И сразу удваивается мое внимание ко всему окружающему: ведь первая потасовка воробьев — это первый намек на весну. Вот будут еще и еще сигналы. Каждый новый птичий голос весной — подарок. И какое наслаждение отмечать эти новые голоса, пока они не слились в огромный общий хор — апофеоз природе и солнцу.

Положено и человеку радоваться весне. Но часто при этом думаешь: много ли еще таких радостных встреч предстоит тебе в жизни?

И раз мне пришла в голову лукавая мысль:

«А почему бы не вырвать у жизни хотя бы одну лишнюю весну? Ведь родина моя так велика. Ежегодно в разных концах ее бывает много разных вёсен».

Съезжу-ка на Кавказ. Конец февраля. Там как раз начинается весна. Южная весна коротка. Успею встретить ее и вернуться. Тут встречу вторую в году — нашу неторопливую северную весну.

Даже краска прилила к лицу, точно задумал обмануть судьбу.

Как раз у меня и возможность была съездить куда-нибудь отдохнуть между двумя работами.

Беру билет на поезд до Туапсе и через три дня, проснувшись утром, вижу: весна!

В Туапсе на улицах припекало, кой-где была уже пыль, хотя горы кругом сверкали снегом. В садах громко пинькали лиловогрудые красавцы зяблики.

Сразу видно, что они только что прибыли сюда: ни одной самочки в их холостяцких стаях. Более сильные самцы удрали вперед. Самочки придут позже.

Еще только первое марта, но я опаздываю. Скорей, скорей, вперед!

И вот прекрасный теплоход «Абхазия» уже развевает передо мной неторопливо-величественную панораму Кавказского побережья и бесконечный простор моря.

Последняя ниточка, связывавшая меня с родным севером, рвется. Я в другой стороне — прекрасной, желанной, но не родной.

На молу сидят, наподобие прусских орлов, подняв и растопырив крылья, большие черные птицы. Невиданные у нас птицы — бакланы. Смешные звери выскакивают из волн и падают назад в море. Таких не увидишь даже в ленинградском и московском зоопарках: дельфины. И даже чайки, белорозовой стаей провожающие теплоход, — не наши чайки: розовогрудые с красными носами и лапками — морские голубки.

Идет, идет теплоход, винтом отсчитывая время и пространство.

Вот уже Гагры,

Внушительная картина! Огромные горы. В расщелинах — завалы тяжелых мутных туч. На вершине — дикие, засыпанные снегом леса, пихтач — словно настоящая сибирская тайга. А на узкой полоске берега игрушечные красивые домики-ульи и перед ними — пальмы, кипарисы, эвкалипты.

Бесшумно течет вода, течет время.

Сухуми.

Стоит однажды побывать в этом милом городке — и уж будет, непременно будет тянуть побывать в нем еще раз.

Когда-то осенью я был в Сухуми. И, конечно, у меня, как и у всякого, кто здесь хоть немного пожил, остались друзья среди приветливого и гостеприимного местного населения.

Меня потянуло к ним. Я сошел в Сухуми.

Какая же может быть весна, когда не было зимы?

На улицах жарко. Пальто ни к чему.

Съездил в Алексеевское ущелье, побывал в саду ВИР'а.¹ Всюду поют черные дрозды. Только вообразить себе эту блестяще-черную с золотым носом птицу в нашем северном лесу на белой березе!

И уже совсем ряженым кажется изумрудно-коричнево-голубой зимородок, сидящий на кусте над горным ручьем.

Каждый день прибывают стаи новых птиц и устраиваются здесь хозяйственно: они уже дома.

Зяблички тоже тут. Вот-вот мужские и женские стайки распадутся, разобьются на парочки.

И вдруг — неожиданно — снег.

Самый настоящий северный снег. И холод. И выюга.

Классическое «старожилы не запомнят!» Такой вдруг снег, такой неожиданный здесь холод в марте!

Снег не тает и на другой день. И вот в ресторане «Рица» появляется новое блюдо: жареные вальдшнепы.

И на третий день — снег и вальдшнепы.

Не узнаю города: слоновые ноги пальм стоят прямо в снегу. Отягощенные снегом, никнут к самой земле громадные листья бананов. На ободранных ветвях эвкалиптов — это австралийское дерево, как змея, ежегодно меняет кожу; — на австралийских деревьях

¹ Всесоюзный институт растениеводства.

сидят мокрые от снега воробьи и простуженно каркают.

Ватага ребяташек, вооруженная палками, направляется в гору. Иду за ними.

Нам встречаются охотники, обвешенные вязанками битых вальдшнепов.

Вот поди же! Эта чудесная сумеречная птица с большими трагическими глазами — желанная и всегда очень немногочисленная добыча наших северных охотников. Она улетает от нас с первой порошей.

Здесь она живет зимой на склонах гор в буковых и других широколиственных лесах. Ей нужно глубоко в мягкую землю втыкать свой длинный клюв, чтобы нащупать им съедобную живность. Снег для нее — смерть.

Горы засыпал глубокий снег. Вальдшнепы спустились вниз, в самый город. Они истощены, обессилены.

Мальчишки бьют их прямо палками.

Мне удалось спасти только одного вальдшнепа. Он не мог взлететь. Я схватил его руками. Рассматривая его, заметил, что на левой ноге вместо среднего, самого длинного пальца, у него культияпочка. Это тронуло меня.

Принес к себе. Пустил в садик. Тут снег уже почти весь сошел.

Вальдшнеп прожил в садике три дня. Потом — ночью — улетел.

Только сошел снег — и в Сухуми сразу настало лето.

Зяблики уже разбились на пары и свили гнезда. Весна кончилась.

Пора мне назад домой.

В Ленинграде еще бушевала волчья выюга.

В деревню я выбрался только в конце апреля. Пригласил с собой приятеля-южанина, охотника: в наших лесах весной хороша тяга вальдшнепов, есть чем похвастать.

Попав в родной лес, я почувствовал себя так, будто обежал земной шар с такой быстротой, что встретил самого себя лицом к лицу.

Опять на деревьях пинькали стаи зябликов. Они здесь еще не разбились на пары. Вспыхнув рыжим

надхвостьем, поднялся в кустах вальдшнеп. Повторялось все то, что я видел недавно на другом конце страны.

Мы шли на тягу.

Я стал у одной опушки, приятель мой — у другой, шагах в двухстах от меня.

Солнце зашло, и птицы примолкли.

Теперь должен протянуть первый вальдшнеп.

Но он не тянул.

«Еще слишком светло, — утешал я себя. — Небо чистое. Сегодня тяга начнется поздно».

Глубокий душевный трепет объемлет душу весной в лесу в эти часы. Нагая дочь севера — белая ночь — гонит сон от глаз. Таинственно оживают в ней белые тела берез, серебристые стволы осин. Сухопарые колючие сосны протягивают к ним свои колючие руки. И таинственно темнеют в глубине неодетого леса дремучие ели. Призрак неутоленной любви поднимается тогда от черной душевной земли к мерцающему бледными звездами небу.

Птицы не спят в эти ночи. Молчанием проводив уходящее на покой солнце, они скоро не выдерживают и снова заливаются песнями. Взлетев на тонкие вершины елок, поют наши серенькие дрозды-белобровки и певчие. Цвирикает в кустах черноокая зарянка. И хриплым от страсти голосом неожиданно начинает кричать в ночи только что прилетевшая на родину кукушка.

Напрасно, замолкнув, ждет она ответа на свой призыв: веселого, звонкого хохота самочки. Не прилетели еще кукушки-самки. Они придут, когда лес оденется листвой...

Колдуя, чуффыкает, звонко бормочет где-то тетерев-косач.

Среди всех этих чудесных звуков слух мой ищет одного — самого желанного: негромкого, хриповатого «хорканья» и «цирканья» тянущего вальдшнепа. Переждав с четверть часа после захода солнца, вальдшнепы-самцы поднимаются с земли, беспокойно снуют над лесом. Они разыскивают, высматривают своих самок. Это то, что называется «тягой».

Я весь напрягся в ожидании первого хорканья. Вспоминалось, как в прошлые вёсны простаивал белые

вечера на этом же месте, и над головой у меня пролетало десять-пятнадцать красивых долгоносиков, десять-пятнадцать раз скидывал я к плечу ружье и стрелял, волнуясь, боясь упустить короткий миг возможного попадания.

Но в сердце уже закрадывалась тревога: что-то случилось этой весной. Не будет нынче той обильной тяги. Что-то уж слишком долго она не начинается.

И тут вдруг — как всегда, когда стоишь на тяге, — неожиданно, хотя все мысли заняты ожиданием этого звука, донеслось откуда-то легкое «ципит, ципит, хорр, хорр!»

Я резко повернулся в ту сторону. И увидел: над опушкой, где стоял мой приятель, на фоне зеленоватой зари, толчками двигаясь в воздухе, неслась птица.

Станным образом она летела — вперед длинным опущенным хвостом. И у нее не было головы.

Мгновенная иллюзия рассеялась: то, что представлялось мне хвостом птицы, был длинный, внимательно опущенный книзу клюв вальдшнепа.

И я увидел, как внезапно вальдшнеп собрался в комочек — уже нельзя было различить, где у него хвост, где голова, — и безжизненно упал вниз.

Тут сразу донесся до меня и звук выстрела.

— Ну! — я вздохнул с облегчением, — один есть. Теперь начнется.

Я радовался, что приятель уж не вернется домой «попом» — без дичи.

Но ничего не «началось». Лес потемнел, в нем слились очертания отдельных деревьев. Прошел час. А вальдшнепы всё не тянули.

Дальше ждать не имело смысла. Я крикнул приятелю. Он подошел.

— Хороша же ваша хвалёная тяга, — сказал он сердито. — Один только и протянул. Вот он. На Кавказе зимой я бил их десятками.

Приятель передал мне убитого вальдшнепа.

Разглядывая птицу, я заметил, что на левой ноге у нее вместо среднего, самого длинного пальца, — культяпочка.

Меня как током кольнуло.

Я, конечно, не могу утверждать, что это тот самый вальдшнеп, которому я недавно спас жизнь за тысячи

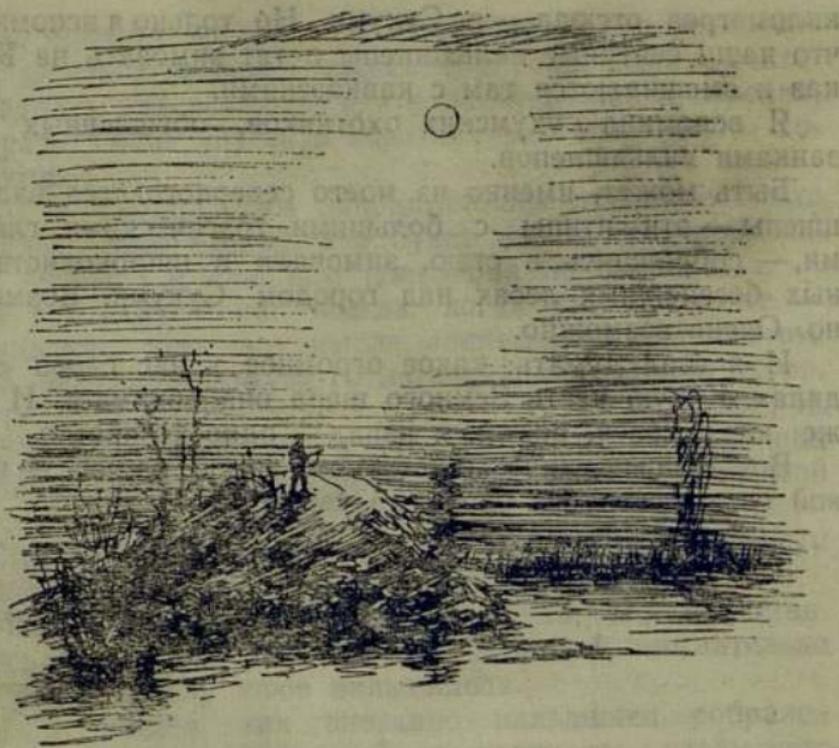
километров отсюда — в Сухуми. Но только я вспомнил, что наши северные вальдшнепы летят зимовать на Кавказ и смешиваются там с кавказскими.

Я вспомнил сухумских охотников, обвешенных вязанками вальдшнепов.

Быть может, именно из моего северного леса вальдшнепы — эти птицы с большими трагическими глазами, — собравшись в стаю, зимовали в широколиственных бесснежных лесах над городом Сухуми. Возможно. Очень возможно.

И я стал думать: какое огромное у нас слово «родина». Какую часть Земного шара она обнимает. И всё же: юг и север, восток и запад — одно хозяйство.

Вот птицы: уничтожь стаю их зимой на юге — весной останешься без охоты на севере.



НОЧНОЙ ЗВЕРЬ

— Ночную тайну разрушит
слово.

А. Блок

Мы возвращались с охоты. Солнце уже зашло, в лесу быстро темнело, но на открытом месте еще можно было стрелять. И когда мы вышли в поле, я спустил Заливая со сворки.

Чем чорт не шутит! Зайцы все сейчас в поле, — может быть, успеем взять еще одного по дороге.

И действительно: не успели мы с Василием Алексеевичем пройти и ста шагов, как чутыстая гончая надела на след, дала голос и погнала.

Мы разошлись занимать места. Василий Алексеевич отошел вправо — к опушке леса, а я взобрался на жальник — небольшой, кругом ровный холмик слева при дороге. Тут был верный лаз: откуда бы заяц ни

пошел, ему не миновать этого узкого места между двумя мысками леса.

Поместившись у небольшого кустика, я снял ружье с плеча и осмотрелся.

Небо было чисто, полная луна «щитом краснеющим героя» только еще вставала над лесом. Под ней блестяли от росы зеленые. Начало октябрьской ночи было торжественно и прекрасно.

Гон между тем ушел далеко — километра за два в поля, к самой дороге.

Там лаял пёс, но где сейчас русак?

В том, что это русак, у меня сомнений не было: беляк не дал бы такого большого круга, он сразу порывит уйти в лес.

Русак сгоряча мог далеко опередить гончую и быть уже поблизости.

Наспех затянувшись еще два раза, я бросил папиросу, придавил ее ногой и передвинул предохранитель ружья на «огонь».

Страстный баритон Заливая взбудоражил деревенских шавок. Они залились визгливым лаем. За ними дряхлым басом забрехал старый колхозный пес Сингал.

Сумерки наполнились неистовым многоголосным лаем. Но не надолго. Неожиданно Заливай смолк. Не слыша его, замолчали понемногу шавки и Сингал. Наступила полная тишина.

Особенность охоты с гончей та, что здесь человек стоит на месте и, прислушиваясь к голосу собаки, силой своего воображения участвует во всех страстных перепитиях смертной погони одного зверя за другим. Самый момент участия человека в охоте короток и часто неинтересен: если лаз выбран правильно, уходящий от погони зверь наткнется на стрелка почти вплотную, и прекратить навсегда его бег нетрудно.

Заливай смолк, значит — скололся: потерял на бегу след. Делает сейчас круг, чтобы опять схватить чутьем запах, оставленный потными от страха и быстрого бега лапами зайца.

А заяц в это время продолжает бег. Он не доверяет внезапно наступившей тишине. До сих пор преследователь выдавал себя кровожадным лаем. Молчащий теперь, он может внезапно появиться рядом.

Заяц делает широкую дугу по ему лишь одному известному кругу. Внутри этого круга он родился, тут он жирует ночами и дремлет днем, тут он любит, дерется с соперниками, спасается от врагов. Только смерть может заставить его выйти из этого круга.

А может быть и так: далеко опередив гончую, заяц сел. Пошевелил над головой ушами.

Тишина.

Тогда заяц поднялся, пробежал вперед до опушки и дальше в лес. Потом вернулся по своему следу, вдруг скинулся с него широким прыжком в сторону и залег на опушке — головой в поле. Прижался к земле.

Тогда я напрасно жду его сейчас сюда: он дождет-ся, пока гончая опять даст голос и промчится мимо него по его собственному следу в лес. Тут он вскочит и махнет в поля.

Передышка, значит, и мне. Можно не напрягаться.

И сознание мое раздвоилось: дежурная часть мозга осталась начеку, глаза сторожили — не мелькнет ли где быстрая качающаяся тень. И в то же время я мог думать о другом и чутко, всей душой отзываться на очарование всё ближе надвигающейся ночи: взбудораженная охотничьей страстью душа была напряжена до звона.

Волшебная картина была у меня перед глазами: мрачно темнел уже весь облетевший лес, а рядом свежо и радостно блестели молодые всходы. Какая сказочная встреча весны с глубокой осенью!

Да и всё кругом, казалось, жило в сказке: все кусты и деревья и древние — со дна ледникового моря — камни, кой-где угрюмо сутулившиеся в поле. Колдовской свет луны наполнял светлую ночь тайнами, ворожил, тревожил — вызывал призраки.

Я вдруг вспомнил, что стою на жальнике. И одного этого мысленно произнесенного слова было достаточно, чтобы призраки ночи воплотились у меня перед глазами.

Жальник — ведь это от слова «жаль», «жалиться». «От жали не плакать стать», говорили древние новгородцы, насыпали на буйвищах, над могилами погибших своих воинов земляные холмы и называли их «жальниками».

И, вглядываясь в лунные сумерки, я уже различал в их переменчивых, неверных тенях воинов в шишаках с мечами, копьями и щитами. Беззвучно совершалась предо мною лютая рукопашная битва, сверкало немое оружие, падали богатыри.

Да, было время... Умели наши предки хоронить своих прославленных воинов.

Но легкое облачко скользнуло по светлому лику луны. И когда сошло, предо мной снова были только веселые зеленя, подо мной — небольшой, кругом ровный холмик.

Я сразу вспомнил про Заливая и подумал: что-то очень уж долго длится перемолчка!

Интересно, что испытывает сейчас русак?

Но сказочная ночь властно требовала необычайного, и мысль моя легко перескочила с русака на меня самого: а вдруг и меня разыскивает по следу какой-нибудь страшный зверь с горящими глазами и выбегающими из кровавой пасти клыками?

Какой-нибудь там вроде ископаемого громадного пещерного медведя.

Будь я мальчиком, я бы наверно вздрогнул от такой мысли, и мне захотелось бы очень быстро обернуться. Но я только грустно улыбнулся.

За полями зажегся огонек: там собиралась ложиться спать мирная, давно забывшая все ночные страхи колхозная деревня.

Самый большой и страшный хищный зверь, на встречу с которым я мог рассчитывать здесь, была лисичка.

Последний маленький медведь-овсянник был убит здесь пять лет тому назад, а о волках уже десятки лет и помину нет.

Даже смешно стало.

Вот стоим мы с Василием Алексеевичем, опытные охотники, напрягаем слух и зрение: ждем на лазу зверя.

А зверь этот — зайчик.

А ведь нам с Василием Алексеевичем вместе-то, пожалуй, сотня лет. Он — известный охотовед, старый зверятник. Да и я на своем веку побывал и в тайге, и в тундре — повидал зверя.

Мы оба знаем зоологию, для нас больше уже не

может быть удивительных неожиданностей в этих изученных, давно обжитых человеком местах. Как далеки мы от дней нашего детства, когда любой лесок за оклицей был населен для нас всевозможными чудами: зверями, которых мы не умели назвать, и — на равных с ними правах — лешими, русалками, кикиморами и другой нежитью. Сказка потеряла всю свою силу над нами, потеряла обаяние тайны: каждое животное здесь мы знаем по имени, отчеству, фамилии, а с именем — и всю его жизнь — «биологию».

Я вздрогнул: из лесу слева от меня донесся короткий, глухой и хриплый крик.

Так мог бы вскрикнуть древний, вросший в землю и весь покрытый мхом камень, если бы вдруг обрёл голос. И вместе с тем я не сомневался, что это крик зверя. Только вот этого зверя я не мог назвать по имени.

Я с любопытством вслушивался в тишину: сейчас, наверно, крик повторится, и тогда я пойму, узнаю, чей он.

Но вместо звериного крика раздался вдруг там же — недалеко слева от меня — неистовый лай Заливая.

Пёс лаял часто, заливисто, то и дело сдвигая голос.

По зайцу гончая так никогда не вопит, по зайцу она брешет.

В сумке у меня были две разрывные пули: старая таежная привычка — на всякий случай всегда иметь их с собой на охоте. Но было ясно, что я не успею достать их, вынуть из ружья дробовые патроны и заложить в стволы пули: так близко от меня был Заливай, а зверь должен был находиться еще ближе.

Приподняв двухстволку, я не отрывал глаз от темной стены леса.

Вдруг из опушки выметнулся зверь ростом с волка.

Я приложился...

И опустил ружье.

Это был Заливай.

Он смолк, метнулся по полю в одну сторону, потом в другую. Подбежал под самый жальник, поднял голову и на миг уставился на меня. Но сейчас же тьяк-

нул, уверенно взял след и помчался вправо от меня — через дорогу.

Еще минутку мелькали в сугеми его белые чулки и исчезли.

Он пошел прямо на опушку, где стоял Василий Алексеевич, и я невольно задержал дыхание: вот раздается выстрел.

Но лай Заливая удалялся, а выстрела не было.

Я выпустил распиравший грудь воздух.

Признаюсь: чувствовал я себя не совсем уютно.

Поведение гончей было совершенно недвусмысленно: Заливай шел по следу; он прошел под самым жальником — у меня под ногами; значит, до него прошел у меня под ногами и зверь.

Тот зверь, которого я не мог назвать.

Прошел, как привидение: беззвучно, невидимо.

Но если я его не видел и не слышал, то он не мог меня не видеть: ведь я стоял на холме и снизу был, конечно, очень заметен на ясном небе. Да и чутье должно было его предупредить о присутствии человека: ночной ветерок тянул как раз справа от меня к той опушке, откуда он вышел.

Какой зверь мог пройти в двадцати шагах от меня, оставшись незамеченным? И даже не зашуршать когтями по опавшей листве на опушке!

Василий Алексеевич тоже не выстрелил: значит, зверь и у него прошел невидимкой.

Голос Заливая потерялся уже в глубине леса.

Я вдруг почувствовал, что ночь холодная, а мне очень жарко.

Так или иначе, дело было кончено: зверь прошел и уж, конечно, сюда не вернется.

Я опустил предохранитель и повесил ружье на плечо. Закуривая на ходу, спустился с жальника.

С Василием Алексеевичем мы сошлись на дороге.

— Видели? — спросил он.

— В том то и дело, что нет.

— Я видел. Крупный зверь. Как из-под земли вырос. На широких махах подошел к опушке и стал за кустами. Близко. Голову держит высоко.

— Да кто же?

— Не знаю. Невозможно было разглядеть.

— Осечка?



— Нет: просто не стрелял.

— Вот тоже!..

— А вы попробуйте в такого — заячьей-то дробью!

— Ну и что же?

— Ну, потом сдвинулся и разом пропал за деревьями. Как сгинул. Шорох, правда, был. И два раза хрустнуло в лесу. Похоже, не он, а от него кто-нибудь бежал в разные стороны.

Василий Алексеевич замолчал. Тут только я сообразил, что оба мы всё время зачем-то говорили шопотом.

Шагая по дороге, я совсем другими глазами всматривался в ночь, чем тогда, вначале, на жальнике. Нет, чорт возьми, годы тут не при чем! Луна свое взяла.

Подмораживало. Лунная мгла опустилась и остеклянела. Заливая не было слышно.

Великое бессловесное — земля, лес, небо — давило меня своей непонятной немотой. Наверно, и Василий Алексеевича тоже. Но мы молчали: может быть, оба не решались начать разговора, в котором нехватало у нас главного слова.

Я думал про одно: как это я не увидел, а Василий Алексеевич видел, да не знает — кого?

К деревне мы подходили уже в полной ночной темноте: луну заволокло большой тучей.

Тут нас догнал Заливай.

Он подошел ко мне, остановился и как-то по-особенному натужно тьякнул.

Уж не силился ли он вымолвить слово: он-то ведь видел и знал.

Я положил ему руку на спину и почувствовал, как тяжело вздымаются его бока.

Спина была мокрая.

Заподозрив неладное, я достал спичку, осветил свою руку.

Она была в крови.

Василий Алексеевич осмотрел, ощупал Заливая.

— Радуйтесь, что собаку не потеряли, — сказал он хмуро. — Пустяками отделался — царапина.

Я подумал:

«У нашего невидимки совсем не призрачные когти и зубы!»

За гумном горел костер. Я с удивлением увидел около него лохматого Сингала и колхозного пастуха — старика Митрея. Сверху на костер надвинулась тьма. Старик сидел, как в шалаше.

— Что ты тут делаешь, дед?

— Да, вишь, овечку свежевать дали. Зверь утресь задрал, туды его когти! От силы прогнали.

Мы с Василием Алексеевичем переглянулись.

— Медведь?

— Волк?

— Да нет, какие тут волки-медведи.

И вот дед сказал слово, которого нам так не доставало:

— Рысь.

Как свет включил: мгновенно объяснил все наши переживания этой ночи.

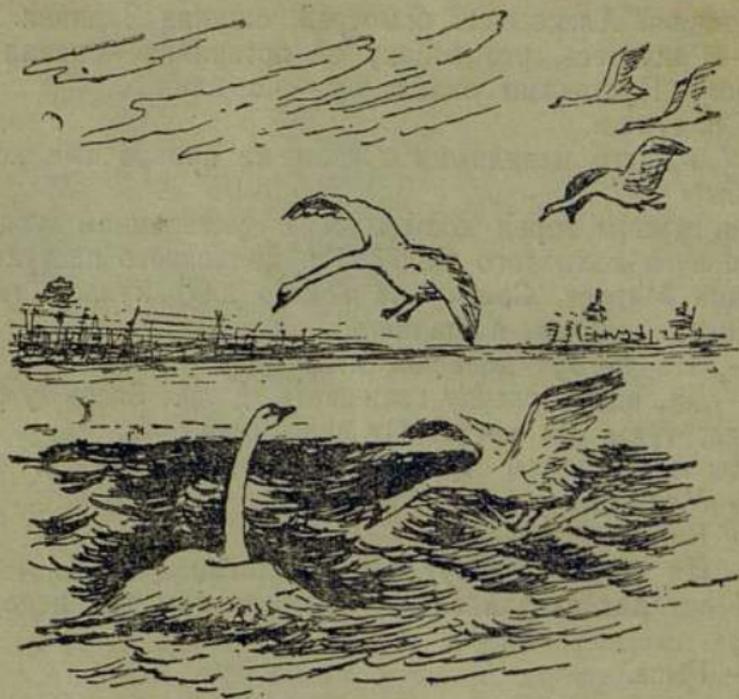
Заливай бросил след русака, напав на рысий след.

Рысь царапнула его в схватке. Потом, спрятав страшные свои когти в бархатные лапы, бесшумно и незаметно проползла мимо меня под жальником. Так бесшумно и незаметно, как могут красться одни только кошки.

Василий Алексеевич не мог признать ее за кустами в лунной мгле: рысь в этих местах — зверь проходной, совершенно случайный, нам и в голову не приходило, что можем с ней встретиться.

Я переживал сказку, думая о происхождении слова «жальник». Но если б я вспомнил короткое слово «рысь», это заставило бы меня иначе смотреть перед собой. Я бы искал глазами не качающуюся тень скачущего зайца, а стелющуюся, переливающуюся тень ползущей, крадущейся кошки.

И это коротко рычащее слово очень легко тогда могло бы превратиться в пушистую рыжую шкуру.



О, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ!

К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья. Как огромный синий-синий самоцвет засияла на солнце освобожденная вода. И утром, и днем, и вечером, — когда ни взглянешь, — на ней сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.

В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Всё это были нырки: гоголя, черенети и спешащие на далекий север морянки-аулейки — черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами. Впрочем, морянок-то я различал и ночью: по их крику, совсем непохожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя — Аулей:

— О, Аулей, Аулей, Аулей!

Кряквы, шилохвости, связы и другие мелководные утки полыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.

Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей неописанной красотой.

Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слышал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы — какие-то большие, неведомые, сказочные трубы — клики лебедей, действительно, напоминают, хоть не слышал я и сказочных труб.

Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей избушки.

Я спал не раздеваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.

Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.

«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», подумал я.

И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, — верно, хочет сесть на озере.

В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек, и вспыхнуло белое облачко дыма.

Я не поверил своим глазам — быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том берегу маленькую фигуру охотника.

Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загре-

бая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.

«Дорого тебе станет этот выстрел», в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.

Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убийство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу. Уже мало остается на Земле таких глухих мест, обширных озёрных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха выводят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птенцов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.

Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно, раненое крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун — самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов — живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею — всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.

Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера. Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.

И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.

— Кринг-клю-у! — кричал покинутый лебедь звенящим, хрипловатым голосом. В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да: отчаянный зов.

— Кринг-клинг-кланг-клю-у! — издали отозвалась ему стая.

— Кринг-клю-у! — отчаянно звал раненый.

И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, пошел на посадку. Раненый замолчал.

Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спустились на воду, поднимали две стены брызг и некото-

рое время с разгону двигались по воде. Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.

Не хочется рассказывать, что было дальше. Всё и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, — со дна, мелкого дна.

Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.

Раненый опять закричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.

Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.

Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно. Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещавший, крошащийся под ногами лед было рискованно. Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома — из избышки на высоком берегу озера. Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.

Я вернулся домой через два дня утром.

Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.

В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи — легкие цепочки лисьих следов.

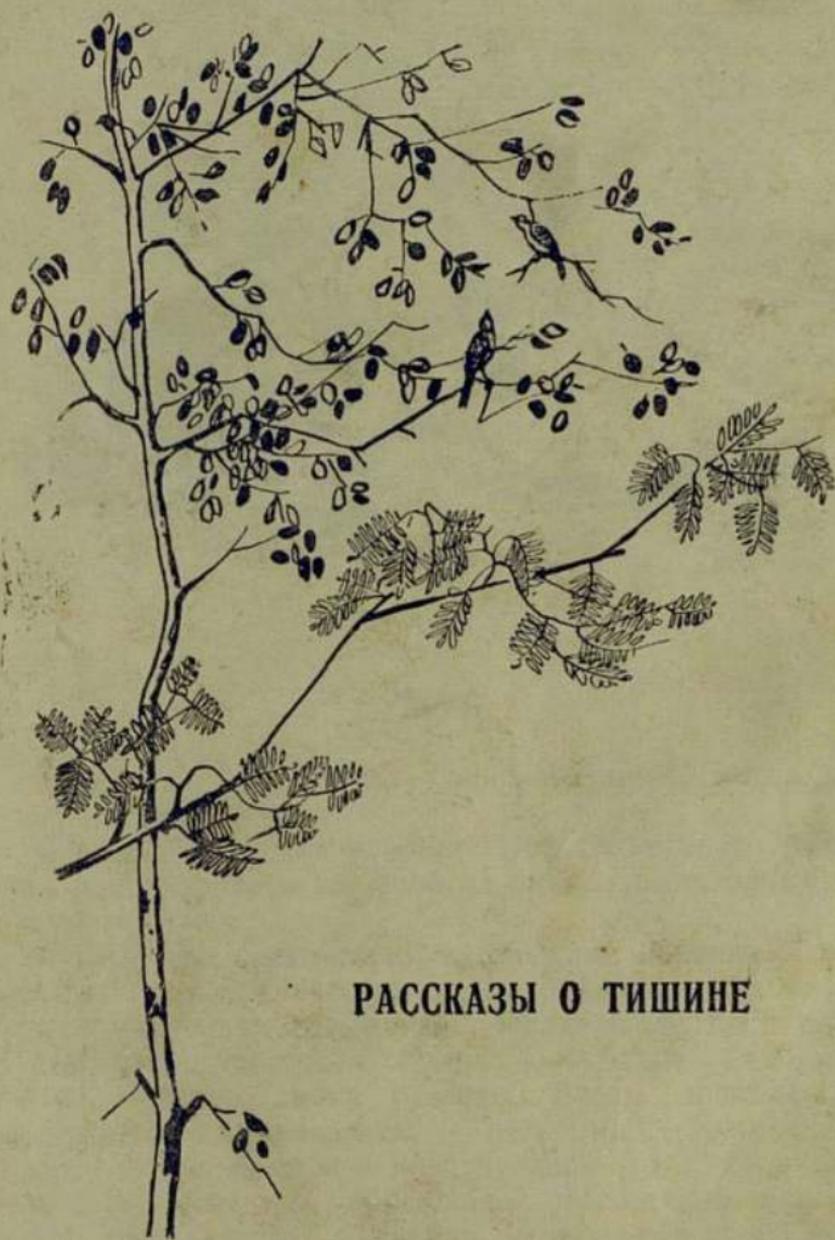
Может быть, ночью лебедь вышел на лед — хотел итти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, — не знаю.

Лебеда не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:

— О, Аулей, Аулей, Аулей!

Стаи снимались с озера, летели на север — к своим гнездовьям.

С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.



РАССКАЗЫ О ТИШИНЕ



УММБ

В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.

Я играл на песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.

Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя все мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина.

Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело все вокруг, — мне показалось, — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего

дома, — птицы молчали, * попрятались, затаились. Ничто не шевелилось там в саду; укороченные, иссиня-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Ветер утих, даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и все замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, которое разом нарушит эту непонятную мне немоту.

Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия. Тишина, внезапно наступившая, мне казалась таинственной, я не мог ее разгадать своим детским умом и замер сам и вслушивался, ждал, что вот в самой этой неподвижности полдня, в самом пространстве, наполненном зноем, с минуты на минуту что-то произойдет и тайна исчезнет. Как в сказке из «Тысяча и одной ночи» — «Али-баба и сорок разбойников» — раздается заклинание: «Сезам, откройся!» — и перед человеком открывается гора, полная сокровищ.

Я ждал. Горка песку беззвучно рассыпалась и легла у моих ног.

В смятении я обернулся.

Матери не было в окне, а вскочить, побежать к ней я не смел.

Тишина все длилась. Только маленькие пологие волны залива равномерно набегали и отбегали, набегали и отбегали, чуть слышно звеня, оставляя влажный след на песке. Был полный штиль.

Полный штиль был и внутри меня. Я затаил дыхание. Только ровно, сильно тукало сердце.

Сколько времени это длилось, я не мог бы сказать.

Теперь-то я хорошо знаю, что эта за тишина. Она наступает на переломе знойного летнего дня, в полуденные часы. Утомленные жарой, смолкают птицы, хищники, с рассвета парившие в небе на своих распластанных крыльях, прячутся в тень, рыба перестает играть на зеркале рек и прудов — глубже уходит в темные подводные заросли, и даже кувшинка прячет под воду свои желтые и белые чашечки. Зной. Безветрие. Солнце стоит отвесно. И чем жарче день, тем удивительнее это затишье, наступающее в природе. Почув-

ствовать его можно только в лесу, в поле, на море, в городе оно незаметно. Может быть, час пройдет после полудня, может быть, меньше, и также неуловимо, неощутимо, как настаёт эта немота, мир опять наполняется звуками.

..Ничего не случилось, но я почувствовал: проходит. И странное оцепенение спало с меня.

И вот тут-то я услышал слово, — каждый звук в нем различил.

— Уммб!.. — послышалось далеко в море, разнеслось по спокойной воде, дошло до берега, до меня и отдалось где-то за нашим домиком, в лесу:

— ббы!

И там, откуда разнесся этот звук — от «банки», песчаной отмели среди моря, — всколыхнулись чайки. Закричали, поднялись в воздух. Налетел ветерок. В саду громко запел зяблик, застрекотали кузнечики. Хрустальная гора безмолвия рухнула.

Я вскочил и стал всматриваться в море: кто там сказал это слово?

Но на спокойной глади воды никого не было видно.

Это очень удивило меня: такое великанское — на весь мир слово, а того, кто его сказал — не видно. Уж не само ли это море его принесло?

Я был в том возрасте, когда для человека в мире живо всё и у всего есть язык. Тогда человеку весь мир — сказка. А в сказке почему бы и морю не произнести какие-то слова? Ведь говорит же в сказке Царь Морской!

А это слово было как раз такое, будто кто-то пронёс его со дна моря, — булькнул им оттуда на весь мир.

Я побежал спросить у матери: кто это говорит «уммб» и что это значит?

Но мать ничего не могла объяснить мне. Она была в кухне, не слышала этого слова и, занятая своими делами, даже не поняла, о чем я спрашиваю.

Забыть такое слово было невозможно, и долго потом я о нем спрашивал у всех взрослых. Но никто не мог мне его объяснить, даже «старые морские волки» — матросы, побывавшие в кругосветных плаваниях.

Но эти-то умели рассказывать о море такое, что, слушая их, я забывал обо всем на свете, даже о слы-

шанном мной таинственном «подводном слове», как я его стал называть про себя.

Из их рассказов выходило, что в море всё есть и всё может быть, — даже такое, о чем люди и не подозревают. Есть же на свете морской змей длиной в несколько километров. Есть рыбы, летающие по воздуху, — как же, рассказчик их своими глазами видел! Есть чудовища морские, такие огромные, что в пасти их пропадают целые корабли с мачтами. Есть и такая рыба морская: только приставит ей корабельный кок нож к пузу — она как заорет петухом! Вот те крест! — клянется рассказчик. — Сам, своими ушами слышал, пропади она пропадом!

Я подрастал. Пришел тот возраст, когда у человека широко открыты глаза на мир — влекущий к себе, прекрасный и таинственный мир, но уже нельзя без оглядки верить всему, что слышишь об этом мире. Рассказы матросов были очень увлекательны. Пока слушаешь их, веришь, бывало, всем морским чудесам. А потом опомнишься — и пойдут сомнения. Начнешь разбираться, где правда, где сказка и где в сказке правда.

Наверное, уж так я устроен, что мне и до старости кажется: вся жизнь — сказка. К чему ни начнешь прислушиваться — за самым обыкновенным, даже скучным на первый взгляд явлением скрываются удивительные вещи. Начнешь разбираться, а там — полно неизвестного — темные дебри маленьких и больших тайн.

И еще мне всё казалось странным, почему это люди — даже взрослые — так охотно выдумывают небылицы, когда было чудеснее всего, что они могут выдумать?

Выдумывают каких-то чудовищ, глотающих корабли. А тому не удивляются, что живое морское чудовище — огромный зверина в сто тонн весом — кит — не может проглотить даже маленького человечка — такое у него узкое горлышко.

Серьезные научные книги начинали тогда раскрывать предо мной не менее удивительные чудеса и тайны, чем те, о которых говорилось в сказках. Я узнавал из книг, что существуют на самом деле летающие по воздуху рыбы, рыбы, ходящие посуху и даже залезающие

на деревья. И что на самом деле существует морской петух — кричащая рыба.

Это заставило меня снова и снова вспоминать когда-то слышанное мною «подводное слово» и думать: уж не рыба ли какая произнесла его, — и томиться желанием разгадать эту загадку.

Человек пытлив, он хочет всё объяснить себе — и во вселенной, и в себе самом. Как же без этого жить? Исследовать, понять должен человек, а не спешить забыться — махнуть рукой.

Мы продолжали летами жить на берегу Финского залива. И вот еще и еще раз пришлось мне услышать этот таинственный звук.

Однако кто его произносил, я никак не мог подметить. Каждый раз та же картина: опоконная гладь моря, на ней — никого, кроме чаек, тишина, неподвижность — и раздается это «уммб!»

Единственное, что я твердо установил в эти годы, это что «уммб» совсем не обязательно раздается в полдень: мне приходилось слышать его и утром, и днем, и вечером — лишь бы на море было тихо.

Но кто произносил это таинственное слово, кто?..

Десять лет томился я этой загадкой.

Разгадка пришла неожиданно. И при довольно странных обстоятельствах.

Случилось, к нашему берегу прибило волной утопленника.

Как полагалось тогда — это было до революции — из ближайшей деревни послали за урядником и судебным следователем, а в ожидании их приставили к утопленнику сторожа, чтобы никто до приезда властей не пошевелил мертвое тело.

Сторожить ночью досталось знакомому мне мужичку Спирьке. А он был не то что слабоумный, а как про него говорили — «со шмелём». Из тех, кого до старости зовут уменьшительным именем без отчества. Нескладно всё как-то у него получалось, фантазии всё разные, а дела нет, — больше всё в церковь за семь километров бегал да лоб крестил. Нечистой силы Спирька боялся ужасно, и она всюду ему мерещилась. Ну, где такому всю ночь около утопленника просидеть? Да у него от страха родимчик сделается. А послушаться старосты нельзя: боится.

Вот Спирька прибежал ко мне и молит:

— Выручи, братец, посиди со мной ночку, смерть боюсь!

А мне шестнадцать лет было — самый такой фанфаронистый возраст, когда не только своего страха никому не покажешь, но и над другим без жалости посмеешься, если заметишь, что чего-нибудь боится.

Над спирькиной «нечистой силой» я частенько измывался. Он и думал, что мне всё — трын-трава.

А мне, признаться сказать, никогда еще с покойниками дела не приходилось иметь, и с утопленником целую ночь просидеть совсем не улыбалось. Ну, однако не откажешься: подумает — струсил.

— Ладно, — говорю. — Обожди. Сейчас соберусь. Ночку с тобой скоротаю, а чуть свет — извини уж! — на охоту уйду.

Какая там охота после бессонной ночи! Но надо же как-то объяснить, зачем ружье с собой беру.

А Спирька и тому рад, что хоть в темноте живая душа с ним рядом будет.

Вот сидим мы со Спирькой ночью у костерка и разные истории друг другу рассказываем. Всё про хорошее стараемся, про веселое. Про покойников, утопленников, конечно, ни слова.

А «он» лежит тут совсем близко, свет от нашего костерка до него достигает. Мы у леса, «он» на песке между нами и морем. Рогожами покрыт. Лежит, молчит, не шевелится, — кажется, чего спокойнее? А вот не только Спирьке — и мне страшно. Оба к «нему» сидим вполоборота — спиной боимся повернуться. Оба нет-нет да и покосимся на «него» одним глазом.

Я-то, конечно, знаю, что со смертью всё кончается, мертвый не встанет и ничего плохого сделать тебе не может. А все-таки твердой уверенности, чувствую, во мне нет: вдруг да случится что-нибудь такое страшное? А что — и сам не знаю.

Котелок у нас над огнем приспособлен: чай греется. Двухстволка у меня к дереву прислонена.

А ночь июньская, тихая-тихая. Чуть только море плещет. И звезды в небе горят неярко, спокойно так.

Уж вторые петухи в деревне — слышно было — пропели.

И вдруг я услышал шаги: идёт кто-то по берегу к нам, камешки у него под ногами похрустывают.

Я взглянул на Спирьку, а на нем лица нет. Глаза с кулак, и рот разинут.

Я взял ружье на колени и жду: кто покажется?

Показался старичок. Совсем с виду не страшный: бородёнка плохонькая, в руке суковатая палка, котомка за спиной. В щиблетах. Одним словом — прохожий старичок, из городских.

Повернул к нам. Подошел.

— Мир беседе! — говорит. — Что не спите, люди добрые?

— Сторожим вот, — отвечаю. И кивнул на «того», закрытого рогожками.

— Вот оно какое дело!

Старичок подошел к «тому», нагнулся, опершись на палочку, поднял рогожку и долго, спокойно и внимательно вглядывался в открывшееся ему лицо. Потом опять аккуратно прикрыл его рогожей.

— А это зачем же? — опять подойдя к нам, кивнул он на мою двухстволку. Я так и держал ее на коленях. — Убежит, что ли?

Я не нашелся, что ответить. Приставил двухстволку опять к дереву.

Он скинул с плеч котомку, сел, вытащил из нее облупленную эмалированную кружку, хлеб.

— Одолжите кипяточку?

Спирька налил ему из котелка.

Старичок молча напился чаю с хлебом, молча убрал кружку, достал кисет и сложенную книжечкой мятую газетную бумагу. И держа ее в руках, о чем-то надолго задумался.

Задумался и я. Старичок мне не нравился. Не потому ли, что он так равнодушно разглядывал «того» — на песке? И посмеялся над моим ружьем?..

— ... Закурим, — сказал прохожий старичок. — Закурим табачку листового, помянем дедушку лесового.

Поминание «дедушки лесового» привело в полное смятение Спирьку: я видел, как он дернулся и, поспешно сунув руку за пазуху, мелко-мелко стал крестить себе грудь.

Старичок, казалось, не заметил этого. Он закурил,

предложил табачку нам и, когда мы откázались, стал рассказывать.

Рассказ его был как раз о том, о чем мы со Спирькой в это время меньше всего хотели бы слушать: о мертвых.

Старичок сообщил, что уже сорок лет служит в городе сторожем в морге, или, как он говорил, «при покойницкой». Мертвецы были его специальностью, и видно было, что он может сообщить о них много любопытного. Я уж было и заинтересовался его рассказом, но, взглянув на Спирьку, решительно попросил старичка «прекратить об этом».

Он явно был недоволен, что ему не дают говорить на излюбленную тему, пробормотал себе что-то сердито под нос, — но замолк.

Пропели за лесом третьи петухи. Был тихий пред-рассветный час. Море и лес молчали: еще не начался утренний бриз — не потянуло ветерка с остывшей за ночь земли в море; не проснулись в лесу птицы.

— ... Уммб!.. — раздалось вдруг с моря.

— Господи, спаси нас и помилуй! — отчаянной скороговоркой взмолился до смерти перепуганный Спирька. — Господи, господи, господи, господи, да что же это за напасть такая! Помилуй нас, огради, защити, господи!..

Я с удовольствием отметил про себя, что и старик вздрогнул при этом таинственном звуке. Но он быстро оправился. И не замолк еще шопот Спирьки, как он полным презрения голосом обронил:

— Эх, тебя схватило! От необразованности всё это. Темнота.

И так он это уверенно произнес, такое в его голосе прозвучало равнодушие к тому непонятному, что через это «подводное слово» меня так мучило, что я вдруг подумал: а ведь вот кто, пожалуй, знает, чей голос произносит это слово!

И, на всякий случай, — чтобы не потерять своего достоинства, — скривив рот в улыбку, я тоном превосходства «образованного» человека, с высоты своих шести классов гимназии, спросил:

— А вы, значит, понимаете, что это мы сейчас слышали?

Старичок сплюнул в костер.

— Прежде слышать не доводилось. А в соображениях взять можно. Данные налицо.

«Ого! — подумал я. — Какое слово!»

И даже трепет какой-то внутренний почувствовал: вот сейчас этот сморчок, просидевший полжизни среди мертвецов, в один миг раскроет мне тайну, раскрыть которую я не мог десять лет! И досадно было, и любопытно ужасно.

— Так какие же ваши «данные»? — спросил я как можно равнодушнее, особенно подчеркнув «ученое» слово.

Старичок пристально посмотрел на меня и встал. Почти величественным жестом он широко провел вытянутой рукой у себя перед грудью, как бы обводя ею какое-то пространство. Потом опустил ее — и указал на то, что лежало на песке, прикрытое рогожками.

— Понятно?

Я смутился.

— Второе понятно: вон лежит. А первое, признаться, не очень.

— Первое будет — море. Мало разве в нем покойников плавает? Один этот и был?

— А при чем тут он? — совсем удивился я.

— Как то есть при чем? — рассердился старичок. — Другой человек не своей волей в воду-то попадает: случайно свалится да захлебнется или другие его туда пихнут. Такой своего последнего слова еще не сказал. А дых в них, в покойниках, есть. Такой вот человек и старается с-под воды-то свое последнее слово людям и миру вымолвить. С последним дыхом выдавливает его со дна морского.

«Фу ты! — подумал я. — Какую ерунду выдумал. Вот тебе и «образованность!»

Я махнул рукой и нарочито протяжно зевнул.

Это не прошло мне даром.

— А вы, молодой юноша, — сощурившись, сказал вдруг старичок, — видать из образованных будете? Что же покойников-то эдак боитесь? В бабын сказки верите? Стыдно-с!

Я, конечно, вспыхнул.

— Из чего это вы заключаете, что я боюсь? И не думаю! Я сюда добровольно пришел, вот с ним, — я кивнул на Спирьку, — посидеть. Потому что он боится.

— А не бойтесь, — сказал старичок и вредно так улыбнулся, — так вот извольте потрудитесь до моря дойти — взглянуть, не плывет ли там еще какой покойничек? Да чтобы мы знали, что вы до самой воды дошли, прихватите вот пустой котелок, принесите нам воды из моря. Ась?..

Это уж был прямой вызов. Отказаться — значило признать себя трусом.

Я вскочил, схватил котелок, протянул было руку и за ружьем, но, покосившись на ехидного старичка, поспешно отдернул руку. Пошел с одним пустым котелком.

До моря по прямой было шагов с сотню. Итти надо было мимо прикрытого рогожами тела. И я прошел нарочно как можно ближе к нему: на вот тебе!

Я хоть не оборачивался, но уверен был, что старичок не спускает с меня глаз, так и сверлит ими спину мне.

Здорово я был в эту минуту зол на этого прохожего старичка. Да и на себя тоже: ведь я действительно побаивался, а чего — и сам не знал. Я же не семинарист, не верю ни в ведьм, ни в колдовство, ни в разных там внев, ни в восстающих из гроба покойников, стучащих в окно утопленников.

... И в распухнувшее тело
Раки черные впились...

вспомнились мне вдруг с детства знакомые строчки, и всё тело сразу покрылось «гусиной кожей».

— Фу ты, чтоб тебя! — подумал я. — Лучше совсем об этом не думать. Потом разберусь, откуда все-таки этот страх. Днем же не трушу.

Я уже подходил к морю. Начинало рассветать. Я всматривался в воду: вдруг там на самом деле... Но нет, конечно, не бывает таких неожиданных совпадений!

Вместе с тем мне холодило спину: я не мог забыть, что там, у меня за спиной, лежит «тот», покрытый рогожками.

... посинел и весь распух...

Однако тут мне пришлось убедиться, что совпадения в жизни бывают самые неожиданные и такие, которых человек заранее и представить себе не может.

Я увидел в волнах темное тело.

— Нет, это подводный камень обнажился! — мыс-

ленно сопротивлялся я тому, что видели мои глаза и что не хотело, ни за что не хотело признать мое сознание.

Темное тело покачивалось в спокойных волнах так недалеко от берега, что виден был даже желтоватый блеск, которым оно отсвечивало в лучах разгорающейся зари. И заметно было, что его несет к берегу.

Больше обманывать себя нельзя было.

Мне стало нехорошо. Я почувствовал слабость под коленками и должен был опуститься на песок.

Мне показалось, темное тело исчезло. Но вот я его опять увидел — ближе.

... Опять исчезло. Или это у меня мутится в глазах?

Я сидел, не смея пошевелить пальцем.

И как-то уж совершенно неожиданно для меня утопленник вдруг очутился совсем рядом: выплеснулся на влажный песок вместе с волной. Длинное мокрое тело, всё в мутных пятнах, зализанная водой голова... И голова эта смотрела на меня в упор открытыми, живыми человеческими глазами!

Этого я не мог вытерпеть.

Я вскочил и... не знаю, что бы я сделал, если бы утопленник не повернулся вдруг очень быстро всем телом и головой вперед и не нырнул назад в море.

Можете смеяться надо мной, но я в ту минуту не мог сообразить, что это зверь — нерпа, тюлень.

Я понял это только через несколько времени, когда уже совсем рассвело и я увидел тюленя плывущим недалеко от берега и скоро потом выплывшим на плоский, чуть выглядывающий из воды камень.

С камня он сейчас же опять нырнул в воду: наверно, увидел меня на берегу, на старом месте. Нырнул, вынырнул — и вот оттуда, с моря, от самого того камня, где он показался, чётко и ясно раздалось:

УММБ!..

Это случайное маленькое открытие принесло мне неожиданную радость.

Не в том дело, что я мог теперь торжествовать над прохожим старичком, так ехидно надо мной посмеявшимся. Кстати сказать, я больше его не видел: он ушел, не дождавшись меня с моря.

И не в том дело, что я разгадал то, что для других — даже стариков — было тайной; хотя это, конечно,

было приятно. А в том была моя радость, что я одержал победу над самим собой.

Скоро мне пришлось убедиться, что после этого глупого приключения прошел страх мой перед таинственным. Только начнешь трусить чего-нибудь непонятного, разом всплывает в памяти, как я тюленя принял за утопленника, — и сам на себя улыбнешься. А где улыбка, там какой же уж страх. И вот захочется найти простое объяснение тому, что кажется таким таинственным.

Сколько раз потом ночью на охоте мне приходилось слышать жуткие, неизвестно кому принадлежащие голоса. А утром по следам, оставленным зверями и птицами на земле или снегу, разгадывать, кто напугал меня в темноте.

Или вот сейчас, я опять вслушиваюсь в таинственную тишину перелома дня. Перед окном моей избы на колхозной улице сидит ворона. Даже не сидит, а скорее лежит: распластала крылья в пыли, приоткрыла клюв.

Дальше — за околицей — на сосне сидит большой ястреб-тетеревятник. Я не вижу отсюда, открыл ли он клюв, но достаточно того, что он сидит неподвижно и не делает никакой попытки схватить в когти глупую ворону, так беспомощно развалившуюся у него на виду в пыли.

Я знаю: он насытился с утра, он тоже утомлен жарой.

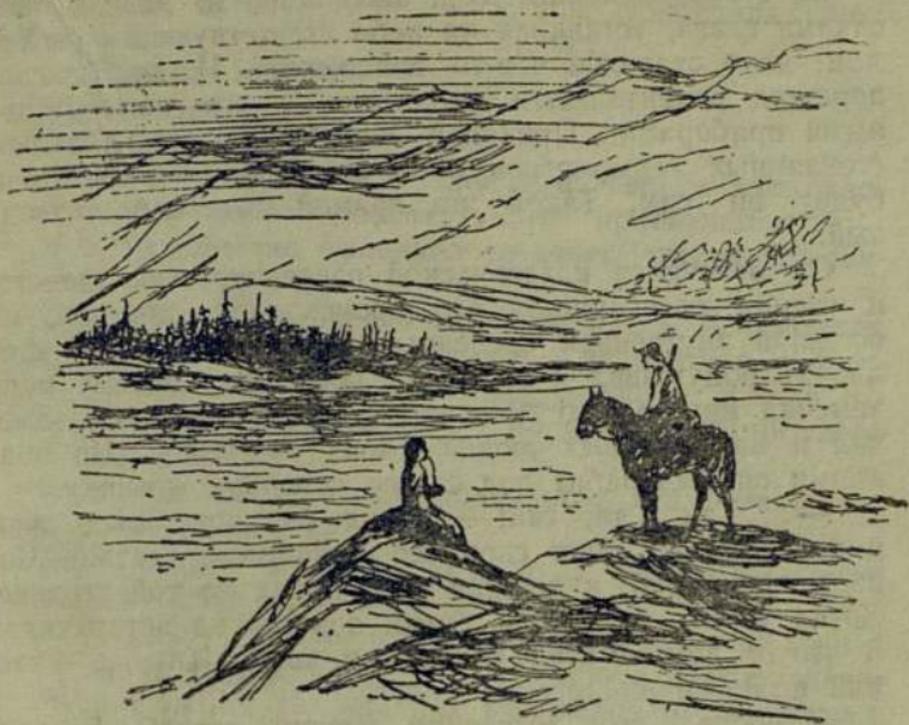
Ополдень будто бы замерла жизнь в природе, так, как замерла она в сказке о спящей красавице. Безмолвие, безветрие, ходики у меня на стене монотонно отсчитывают минуты. О, они бегут быстро!

Солнце — отец жизни, продолжает свой путь, ниже клонится к горизонту, и все живое под ним скоро стряхнет с себя это полуденное оцепенение.

— Сезам, откройся! — сколько раз она открывалась передо мной на миг, сказочная гора Сезам, — но двери, за которыми не счесть сокровищ, тотчас же опять захлопывались у меня перед носом. Я не боюсь этого теперь. Я знаю: это не страшно, раз человек понял, как они отворяются.

К самым таинственным, призрачным дверям всегда найдется простой вещественный ключ. Умей его только найти.

Сокровища будут твои.



„ОНА“

(Рассказ молодого ученого)

— Дик и страшен верх Алтая,
Вечен блеск его снегов.

Хомяков

Только мы разбили палатку, поели и собрались отдохнуть, обнаружилась пропажа сумки с препараточными инструментами. Без них вся работа моя — зоолога экспедиции — срывалась.

Забыв о желанном отдыхе, я вскочил, чтобы сейчас же ехать назад: может быть, мне повезет, и еще до наступления темноты я найду сумку, валяющуюся где-нибудь на дороге.

— Одну минуту, — сказал начальник экспедиции, наш гидрометеоролог. — Сейчас я... это, как его?

Я с надеждой посмотрел на него.

Он стоял, заложив руки за спину, и, заведя под очками глаза, уставился на небо отсутствующим взглядом: явно старался что-то припомнить. И, как всегда, поражал удивительным сходством с его измерительными приборами. Приделай одному из его длинных стеклянных термометров очки да бороду — точь-в-точь будет он сам. Такой же прямой, жесткий, холодный.

Он отличался классической рассеянностью ученого, и ученая рассеянность его происходила, конечно, от большой внутренней сосредоточенности. Он вечно что-нибудь обдумывал и вычислял про себя, потому и не замечал ничего, что происходит вокруг него, не замечал и нас — живых людей, своих спутников. Но знаниями он был набит под самую черепную крышку.

— ... Так... да, так! — сказал он, поправляя очки и переводя на меня свои серо-свинцовые глаза. — Совершенно верно: я держал ее в руках на той стоянке. Хотел убрать в ящик. А потом повесил на ветку кедра и что-то другое стал убирать в ящик. Там ее — это, как его? — и найдете на кедре.

Я послал ему мысленно тысячу чертей. Возвращаться на старую стоянку! Это значило — ночь в седле. После такого-то утомительного дня — душного, без обычного полуденного отдыха!

Но делать нечего, ехать было необходимо.

Я приторочил к седлу тук из пальто с завернутым в него небольшим запасом хлеба, надел через голову ремень двухстволки и, пожелав старому чудаку спокойной ночи, выехал из лагеря на своем сильном трехлетке Воронке.

У реки на большом камне сидела девушка-ойротка — наш проводник. Семь длинных мелко заплетенных кос узкими змейками сбегали с ее плеч на грудь. В черных косах поблескивали серебряные украшения. Плотной обтянутая на скулах кожа, чуть раскосые глаза, чистый лоб. Вся крепкая и совершенно неподвижная фигура алтайки казалась изваянной из камня, на котором она сидела.

Я сказал ей, куда и зачем еду по милости рассеянного нашего начальника: хотелось поделиться с кем-нибудь своей досадой.

Она не вынула чубука изо рта, только перевела на

меня глаза, блеснув глянцем белков. Пропедила сквозь зубы:

— Нельзя. Не ходи.

Я удивился:

— Это почему?

— Делай так, — и она опустила веки и чуть склонила голову набок — показать, что прислушивается.

Я добросовестно выполнил ее совет: стал прислушиваться.

Вечер был на редкость тих: даже птицы приумолкли, и я ощутил какое-то напряжение — непонятное и тягостное, точно рядом кто-то затаил дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыхаясь, ни слова не может вымолвить.

Веки каменной девы поднялись, агатовые глаза в упор уставились на меня.

Она вынула трубку изо рта и размеренно-веско произнесла явно заученные слова:

— Колокола звонят — быть празднику.

Я знал: «праздником» они тут зовут всякое значительное событие. Но никаких колоколов я не слышал, да их тут — в глуши алтайских гор — и не было нигде за сотни верст. Совершенно было непонятно, чего она ждала.

— Какой «праздник»? — спросил я.

И чуть слышно каменная дева прошептала:

— Она.

Я не мог сдержать улыбки.

— Ну, что же: вернусь — погуляю с «Ней» на празднике.

Ойротка опять сунула черный обкусанный чубук в зубы, опустила веки.

Сизый дымок поднялся из трубки и повис в неподвижном воздухе.

Разговор был кончен. Я тронул коня.

Тропа шла тайгой. Я ехал и думал:

«Все они тут живут в сказке, как дети, — и ойроты и даже русские старожилы. Очевидно, первобытная природа так на них действует. Населяют ее какими-то таинственными существами. Вот как эта «Она».

Надо сказать, что о «Ней» я уже не в первый раз слышал здесь в горах. Этим страшным своей краткостью и неопределенностью словом местные жители на-

зывали, повидимому, какую-то неведомую силу, какое-то непонятное им явление природы. «Она» «накатила». Там «Она» положила тайгу полосой, — и можно было думать, что речь идет о каком-нибудь метеорите. Там «Она» сбросила в пропасть целую заимку вместе с пасекой, — и я объяснял себе, что это просто нередкий в горах обвал.

Но все мои попытки добиться толком, что же такое на самом деле эта «Она», каждый раз кончались ничем: рассказчик сейчас же многозначительно замолкал или круто переводил разговор на другое, не удастая меня ответом на такой бестактный вопрос. И в конце концов я решил, что это — мистика, чепуха, сказочный какой-то персонаж вроде бабы-яги, разъезжающей по воздуху в ступе с помелом в руках.

Молод я был и самонадеян. Не умел в шелухе суеверий находить зерно точного наблюдения, проверенного многими поколениями, хотя и не объясненного ими. Думал — любое явление природы могу сразу понять, объяснить себе его сущность и тем убить в себе всякий суеверный страх перед неведомым. И всё, что непонятно, казалось мне суеверием.

Когда тропа опять вышла на берег реки, предзакатное небо уже оделось в яркое золото. На нем — за рекой — чётко вырезался скалистый хребет. На гребне хребта причудливей знаменитых химер на кровле собора Парижской божией матери обрисовывались очертания фантастических фигур. В выветрившихся камнях мои глаза невольно угадывали формы то гигантской белки с круто поднятым хвостом, то ведьмы верхом на помеле из лиственницы, то крюконосый профиль колдуна.

Тут были толстоголовые окаменелые медведи и хищно согнувшие спину рыси. В одном месте мне почудился паук ростом со слона, в другом — так ясно представился лев с крыльями над спиной, что я даже осадил коня.

Действительно: резкие очертания камней необычайно походили на рисунки крылатых львов — грифонов — в учебниках истории древней Греции.

— Кто знает? — пришло мне в голову. — Быть может, эта самая скала на заре истории и породила грифонов в фантазии эллинов? Помнится, эллины в те

времена добирались и сюда, вели торговлю с алтайцами, которых они называли скифами. Грифоны, или грифы, говорили они, охраняют здесь золото скифов.

Вновь пустив коня рысью, я всё не мог оторвать глаз от хребта. Под острым гребнем его на недоступных склонах чернели пасти пещер, — когда-то, может быть, убежищ косматых пещерных гиен и медведей, огромных саблезубых тигров или первобытных людей. И, обвитые корнями кустов и трав, падали с высоты потоки в хаосе громящихся друг на друга плоских камней — россыпи. Падали, падали и не сдвигались с места.

— Чорт знает что! — выругался я про себя. — Вот, кажется, уж и мне начинает невесть что чудиться, как нашей ойротке.

Но уж близок был брод. Переправа была небезопасна и отвлекала мои мысли. А дальше дорога пошла широкой, спокойной долиной Чарыша — одной из крупнейших рек горного Алтая, пересекающей его с востока на запад.

Прекрасны были горы, окутанные легкой разноцветной дымкой заката. Прекрасен был Чарыш, синий и прозрачный до дна. Дикой силой, несказанной красотой дышала вокруг меня первобытная природа, рождая в душе тысячу мыслей, видений и безотчетных чувств.

Но всё-таки главным в тот тихий вечер оставалась тишина. Особенная какая-то тишина: слишком уж беззвучная и, может быть, потому — тягостная.

Теперь уж и мне чудился в ней какой-то легкий призрачный звон. Казалось, звенит воздух. И не раз я ловил себя на желании остановиться, вслушаться, понять этот звук. Но уже начинало темнеть, мне надо было торопиться.

В одном месте путь преграждал бом — скала, нависшая над рекой. На бом пришлось взбираться крутой и скользкой тропой, ежеминутно рискуя поскользнуться и скатиться в реку. В других местах надо было хорошо видеть перед собой дорогу, чтобы не сорваться с кручи.

Уже в темноте я миновал расположенную на том берегу деревню Чечулиху. Час был не поздний, и меня удивило, что ни в одном окне нет света.

— Тоже, видно, «Ее» ждут, — подумал я. — Боятся, что увидит, да «накатит» на них, — опрокинет огонь, наделает пожар.

Тем приятнее мне было заметить далеко впереди, в стороне, и, казалось, высоко-высоко на темной туче веселый красный огонек — верно, чей-то большой костер на вершине горы. Как раз в ту сторону — к Коргонским белкам¹ — лежал мой путь. Я решил:

— Пусть этот огонек будет моим маяком.

Часа через полтора я проехал словно вымершей деревней Коргон: тут тоже не было огней и ни души на улице.

Реку Коргон — бурный приток Чарыша — мне пришлось переезжать уже при луне. Брод здесь серьезный: сильный поток тащит по дну «булки» — камни, обточенные водой и трением о грунт. Может ударить «булкой» коня по ногам. А стоит коню оступиться — стремнина подхватит его, закрутит вместе с всадником и выкинет два разможенных о камни трупы в глубокий Чарыш.

Воронко благополучно перешел реку.

На том берегу я соскочил с седла — поправить тюк. Тут меня поразило, что густая трава, так обильно всегда по ночам обдающая путника холодной росой, сегодня была совершенно суха.

Но и это не заставило меня догадаться о близкой опасности.

А в воздухе уже звенело и пело, как в морской раковине, когда приложишь к ней ухо.

Дальше мой путь сворачивал с хорошо проторенной дороги и удалялся на юг от Чарыша. Я въехал в узкое ущелье между горами, в одно из тех диких ущелий, которые ойроты зовут «аю кепчас» — медведь не пройдет.

Но тут была знакомая мне тропа, проложенная звероловами. Глубокая тень от гор лежала в ущелье, но я подвигался вперед уверенно и довольно быстро. Огонек впереди на горе то показывался, то скрывался из глаз, мигая мне, как настоящий маяк.

В этом глухом ущелье на днях только ночью чуть не оглушили меня своим криком филины. Тут их было несколько. Один закричал, ему откликнулись другие,

¹ Белок — на Алтае — гора с вечным снегом.

эхо в скалах перехватило их крик, и всё ущелье наполнилось адскими голосами. Жуткий был концерт!

Но сегодня даже эти духи ночи — даже филины — молчали.

Ущелье кончалось не очень высоким, крутым перевалом. Я слез с Воронка и повел его в поводу.

Когда мы одолели высоту, перед нами открылась большая елань,¹ вся залитая лунным светом. Трава здесь была скошена, стояли стога.

И вот тут-то мне и пришлось испытать то, к чему я по собственной вине совсем не был подготовлен.

Я спокойно стоял, отдыхая и любуясь прекрасным ночным пейзажем.

Вдруг Воронко как-то дико подпрыгнул всеми четырьмя ногами, вырвал у меня из рук повод и в карьер помчался через елань в тайгу.

Сейчас же и я, еще ничего не видя, ничего не понимая, почувствовал какой-то безотчетный ужас. Еще не зная, откуда надвигается на меня опасность, что грозит мне, я поспешно сорвал через плечо свою двухстволку.

Но стрелять было не в кого, и я беспомощно опустил ружье.

В эту минуту до меня донесся с белка отдаленный грохот ужасающей силы.

Я не знал, что это. На гром не было похоже. На обвал — тоже. Скорее грандиозный взрыв вдали. За ним послышался гул.

Приближение этого низкого, всё нарастающего звука было так страшно, что я бросился к ближайшему стогу: куда-нибудь укрыться от того неведомого, что невидимо несло на меня с горы.

В один миг я, как мышь, зарылся в сено.

Гул приближался с ужасающей быстротой. Выглянув из своего прикрытия, я увидел: выше по горе над еланью, как трава от ветра, клонится высокая тайга. Шума ее не было слышно: он тонул в низком гуле, наполнившем всю вселенную.

Чудилось: кто-то огромный несется с белка по воздуху, и поднятый им смертоносный вихрь сметает всё на своем пути. Но кто, кто, кто?

¹ Е л а н ь — поляна.

— «Она!» — вспомнилось мне, и у меня разом одеревенело всё тело, остановилось сердце. Я закрыл глаза.

И «Она» накатила.

Будто вселенная лопнула у меня над головой. Меня обдало чье-то могучее, жаркое дыхание, вдавило в землю, — и я перестал чувствовать.

Я очнулся на голой земле под высокой спокойной луной. Я не сразу вспомнил, что со мной было. Да и было ли?

Может быть, всё это одно воображение? Может быть, есть такая болезнь, какое-нибудь внезапное, острое отравление мозга — молниеносный кошмар? Короткий миг фантастических видений — и вдруг спокойное пробуждение.

Но ведь в стог-то я зарылся.

Стога надо мной не было.

Я поднялся, осмотрелся.

Не было и других стогов; на елани валялось только разбросанное клочьями сено, темнели еще какие-то пятна. Тайга стояла спокойная.

Не было и коня.

Опять была тишина — и такая, что я подумал: уж не оглох ли я?

Я вскочил. Свистнул, боясь, что не услышу собственного свиста.

Сейчас же из тайги мне ответило знакомое ржанье.

Воронко примчался со сбитым набок, висевшим чуть не до земли тюком. Я так обрадовался коню, что схватил его голову обеими руками и крепко поцеловал в теплую пушистую губу.

Конь дрожал мелкой дрожью, косил глазами и пугливо жался ко мне.

Я уцелел. Но не один ли во всей вселенной — вот с этим верным другом — конем? А других всех людей «Она» могла уничтожить, сдуть с земного шара, как пушинки.

Я посмотрел на гору.

Там горел знакомый огонек — мой маяк. Но он как-то странно горел, неровно.

Помигал и погас.

Совсем погас.

«Просто — спать легли, — утешал я себя. — Потушили огонь и легли спать».

Мысли мои приходили в порядок. Я вспомнил, зачем сюда приехал.

Скала с одиноким кедром, где мы вчера ночевали, была уже недалеко и как раз над этой еланью. Подняться туда — какой-нибудь час.

Но я так ослабел от пережитого, что не мог продолжать путь. Решил: переночую где-нибудь на опушке тайги.

Воронко пошел за мной, как собака «у ноги».

Не прошел я и полсотни шагов, как увидел впереди на земле большое темное пятно лежащего дерева.

Подойдя к нему, я убедился, что это — огромный старый кедр. Он был вырван из земли с корнями. Часть его толстых ветвей — та часть, которой он ударился оземь, — была поломана. Часть торчала вверх, как поднятые к небу могучие руки. На одной из этих веток темнело что-то круглое — вроде вороньего гнезда.

Я протянул руку и нащупал гладкую твердую кожу: сумка?

Расстегнув накрученный на сук ремень, я снял сумку и раскрыл ее.

Это была наша сумка. Все препараточные инструменты были в ней целы.

Такой сюрприз плохо укладывался у меня в голове: уж не брежу ли я? Но это был очень приятный сюрприз: ведь мне не надо было больше никуда ехать, можно было отдохнуть и возвращаться к своим.

— ... С доставкой на дом! — подумал я весело. — По отношению ко мне «Она», во всяком случае, изумительно любезна. Но какова силушка: вырвать из земли столетний кедр и швырнуть его на добрый километр — через тайгу — под гору!

Я расседлал Воронка, пустил его пастись, а сам тут же, под ветвями поверженного кедра, завернулся в пальто и заснул, даже не вспомнив о еде.

Проснулся я, когда солнце встало уже над горами. Мир был совсем другим. В нем и помину не было вчерашней тишины. Со стороны белков дул сильный горячий ветер, тайга шумела.



Пережитое ночью казалось сном. Я готов был смеяться над собой: и чего испугался, как маленький! Просто внезапный сильный порыв ветра, шквал этак баллов на десять-двадцать. Что ему стоит сдуть стог сена и сбросить дерево со скалы? Ураган, бывает, крыши с домов срывает и уносит, дома валит.

Удивительно приятно было чувствовать, что в мире всё так добротное, прочно

устроено. Эта гора, на которой я сижу: никакими силами ее не своротишь с места. В свете ясного утра всё так нерушимо, крепко-телесно: могучий ствол кедра, на который я оперся спиной, камни скал. Жирные лишайники на них, упругие травинки.

Даже у ветра откуда-то взялась невидимая плоть. Он так и напирал на лицо, на грудь — будто резиновый.

А здоровый же ветер! Надо ехать, куда он не перешел в бурю.

Свистнув коня и поделившись с ним хлебом, я приторочил к седлу пальто и сумку и тронулся в путь. Когда начался спуск, тайга уже гудела.

Я благополучно выехал на торную дорогу. Ветер уже превратился в ураган, рвал и метал. Он сдувал в пропасть бегущие по крутым склонам, вздувшиеся ручьи, превращал в пыль летящую воду. Тайга стонала. То и дело в глубине ее слышался треск падающих деревьев.

Даже в глубине долины — под защитой гор — было трудно дышать. Раскаленный вихрь минутами совсем запирает дыхание.

Уверенность в прочности мира опять покинула меня. Всё лезло в голову: «А что наделала внизу «Она», та-

кая милостивая ко мне? Не сбросила ли в реку моих спутников, вещую девушку-ойротку?

В деревне Коргон я получил первые тревожные вести. Знакомый старик-зверолов рассказал, что ночью «верховка» наделала беды. Только что с белка прибежал парнишка. Он спасся лишь случайно. Четверо взрослых мужиков, бывших с ним, погибли: снежный буран разметал и загасил их костер, люди заблудились и замерзли в снегу.

Я вспомнил свой «маяк». Но в голове не укладывалась мысль о стуже, летящем снеге, о сугробах снега там — на вершинах: тут, в долине, под одеждой у меня струился пот.

Я погнал коня.

Дорогу местами заграждали мне поломаные ураганом деревья. На причудливые каменные фигуры скалистого гребня за рекой, дальше по которой был наш лагерь, я старался не глядеть: теперь они вызывали во мне настоящий страх. Я не был уверен, что крылатый лев не отделится вдруг от скалы и не кинется на меня.

Сказочное окончательно спуталось в моем мозгу с реальным. И с каждой минутой росла тревога за своих — там, в лагере. Представлялись их трупы, разможенные о камни.

Я всё погонял Воронка.

И только уже подъезжая таёжной тропой к самому лагерю, вдруг резко осадил коня.

Мне совершенно отчетливо послышался тонкий звон призрачных колокольчиков. Я слышал, ясно слышал их сквозь шум тайги и ветра!

«Колокола звонят — быть празднику», вспомнил я слова ойротки. Она предчувствовала свою гибель — теперь я был в этом уверен. У меня сжалось сердце. Тянулись мучительные минуты.

Воронко заржал.

Из-за поворота тропы вышла ойротка, она — наша проводница!

Вилетенные в ее длинные черные косы, теперь откиннутые на спину, звенели маленькие серебряные колокольчики: таков обычай у дев Алтая.

Увидев ее, я махом слетел с коня.

Увидев меня, она покраснела. И как это показалось

мне удивительно, чудесно, что казавшиеся каменными щеки могут розоветь!

В лагере все оказалось благополучно.

Многомудрый наш гидролог-метеоролог, холодный, как термометр, подробно объяснил мне причины горного урагана.

В общем, дело сводилось к тому, что по ту сторону белков было почему-то повышенное давление, по эту — пониженное. Сперва — ночью — воздух отдельной волной перехлестнул через хребет. Это — как выстрел. Потом — утром — пошел хлестать всей массой, целым потоком. На снежной высоте он разразился снежным бураном, а упав вниз, в долину, сжался, стал плотным, телесным — и раскалился.

Ученый начальник наш назвал это явление «фёном».

Коргонский зверолов просто «верховкой».

Дева Алтая назвала таинственно: «Она».

«Она» ли, фён ли, но поистине грозно оно — это удивительное атмосферное событие высокогорных стран. И у того, кто хоть раз в жизни лицом к лицу встретил такой бешеный порыв стихии, в другой раз дрожь вызовут предупреждающие слова: «Колокола звонят — быть празднику».

Но она-то, она — простая девушка-ойротка — заранее знала то, чего не мог предугадать даже мудрый, как термометр, гидролог-метеоролог! Она предчувствовала взрыв стихии всем своим телом и — сама стихия — вслушивалась в зловедущую тишину и понимала ее. Как хотите, но такие люди приводят меня в восхищение.



НЕСЛЫШИМКА

(Рассказ старого ученого)

Из анкеты

Вопрос: Сильно выраженные духовные особенности, сказавшиеся в научном успехе?

Ответ: Настойчивость и большая любознательность в отношении фактов и их значения. Некоторая склонность к новому и чудесному.

Чарльз Дарвин

Раз уж зашла речь о тишине, позвольте и мне, старику, рассказать о ней кой-что.

Конфузная для меня вышла история, надо признаться. Курьезный казус. И, главное, кто сконфузил-то

меня — ученого, старого специалиста? Собственная внучка, ребенок! А всё потому, что мы... Ну, да об этом после. Доложу вам по порядку.

Четвертое лето уже мы проводили в одной деревне Мошенского района Новгородской области. Я — орнитолог¹ и, конечно, в такой срок детально изучил весь видовой состав гнездящихся в окрестностях птиц. Написал даже о них небольшую работу и как раз в эту весну сдал в печать, считая ее вполне законченной.

Приехали мы тот год в деревню в конце мая. Внучка нередко сопровождала меня на прогулках. Она у меня лес и животных всяких очень любит. Ну, а я, конечно, исподволь и занимался с нею тем, что называю «включением слуха и зрения на птицу в природе».

Все мы, знаете, не видим и не слышим очень многого из того, что нас окружает. А когда человек специализируется на чем-нибудь, он прежде всего начинает замечать то, что относится к его специальности. Так, штурман — водитель кораблей — очень внимательно смсрнит на звезды и, так сказать, «читает» их, потому что привык ориентироваться по ним. Летчик слушает и тонко понимает шум мотора, который нас часто только раздражает, когда мы слышим его у себя над головой. А художник в свете и цвете видит такое, что совершенно ускользает от нашего поверхностного взгляда и даже кажется нам неправдоподобным, будучи изображено кистью на полотне или на бумаге.

Орнитолог, конечно, видит и слышит везде прежде всего птиц. Я вот, например, могу идти с вами и разговаривать хоть в лесу, хоть в городе, — вы ничего не заметите, а я про себя невольно отмечаю: вот синица пискнула, мелькнули в чаще голубые перья на крыле сойки, или крикнул, пролетая над крышами, грач.

Я обращал внимание внучки на птиц, на их крик, песни, полет. Она у меня уже хорошо различала по голосам десятка два певчих птиц. Но, конечно, с ее крошечным опытом не могла ещё знать всех встречавшихся нам птиц, как знал их я. Поэтому меня очень насмешило, когда раз в самом начале лета она прибегает из лесу и говорит:

¹ Орнитолог — ученый, изучающий птиц.

— Дедушка, а ты знаешь птичку-неслышимку? Ты почему мне ее никогда не показывал?

— Постой, постой, — говорю. — Что это еще за неслышимка? Опять сама придумала, вроде Зумзика и Момика?

Она у нас фантазерка. Недавно ее мать рассказывала: играет девчурка одна в саду, а всё, слышно, с кем-то разговаривает — то с каким-то Момиком, то с каким-то Зумзиком. Мать спросила ее, с кем это она. Девчурка только рукой махнула: «Ты не понимаешь! Такие у меня живут здесь — Момик и Зумзик. Мне с ними весело».

И сколько ни расспрашивала мать, так и не могла добиться, что это у нее за невидимки такие — не то человечки, не то зверюшки какие-то фантастические.

На мои слова внучка даже рассердилась:

— Ничего я, — говорит, — не сама придумала! Просто глазами видела. Сидит такая горбатенькая птичка на дереве, на верхней ветке, сама ротик разевает, и горлышко у нее трепещет, а все равно ничего не слышно, никакой песенки.

Я уж, чтобы не обидеть девчурку, сделал вид, что поверил ей. Спрашиваю:

— Где же это ты видела ее?

— На ручье, на пожне у самой опушки леса. Знаешь, где ты всегда покурить на пенек садишься, когда мы из лесу выходим?

— Интересно, — говорю. — В следующий раз пойдем, ты мне ее покажи.

— А она не улетит?

— Нет, ведь сейчас все птицы при гнездах. Раз тут поет, тут и будет.

В лес я пошел на следующий же день. О фантастической «неслышимке», конечно, забыл уже. А внучки со мной не было: она пошла с матерью в другое место — нарвать букет купальниц.

Уже я возвращался домой, когда мой слух поразила неожиданно наступившая в лесу тишина: одна за другой перестали петь птицы. Через две-три минуты я понял причину: вдруг потемнело, налетел сильный шквал, и почти сейчас же хлынул дождь.

Как это часто бывает в начале лета, он продолжался всего несколько минут. Но шуму наделал много.

Когда я вышел из леса на пожню — так здесь называют заливные луга, — я был поражен контрастом между полной тишиной этого открытого места и шумом леса. Шум позади меня и тишина впереди были сами по себе, и четкой границей между ними стояла стена леса. Птицы еще не начали петь ни на пожне, ни в лесу, ветер еще не улегся, мотал ветви деревьев и сбрасывал с них обильные брызги; они падали на нижние ветви, с ветвей — на землю. Одним словом, в лесу была бурная звонкая капёль; казалось, там все еще шел дождь. А на пожне капёль не могла быть заметна, потому что тут росли только отдельные деревья, открытые ветру, и ветер уже стряхнул с них последние капли дождя.

По своему обычаю, я сел недалеко от ручья на пенек — выкурить папиросу. И при этом, конечно, вслушивался в тишину.

Тишина бывает разная. Тишину этого освеженного ливнем луга никак, разумеется, нельзя было назвать «мертвой» тишиной. Как почти всегда в природе — днем ли, ночью ли, — тишина вся наполнилась незаметными нашему слуху маленькими звуками. Она, можно даже сказать, вся состояла из этих почти неуловимых звуков: легкого шелеста травы, шороха пробегающих в кочках мышей — шум, доступный разве только ушам совы, — звона падения с листьев отдельных капель, тихого пения ручейка. Я даже явственно различал где-то слева от себя стрекотание кузнечиков. Однако и этот звук — наиболее определенный из всех других — нисколько не нарушал тишины, как нарушила бы ее сразу звонкая песня зяблика, или скрип телеги, или крик человека. Он был лишь фоном, аккомпанементом в этом, если дозволительно так выразиться, богатейшем немом оркестре луга.

Мне даже взгрустнулось немножко. О том думалось, что вот я уже старик. Сажу тут и вслушиваюсь в эту прекрасную тишину. И всю ее, так сказать, насквозь умом понимаю. Запой сейчас любая птица, пискни в траве — тонко, как ножом по стеклу, — землеройка, я и эти все звуки узнаю, объясню себе. А вот для ребенка сколько тут неизвестного, сколько всяких чудес! Пригрезились же моей внучке и Момик, и Зумзик, и эта смешная «неслышимка». И хорошо ей, девчурке,

весело с ними, и сейчас, вот сейчас может случиться с ней и вокруг нее что-то совсем удивительное, настоящее диво.

Замечательное это ощущение, прекрасное состояние души. И, право, досадно, если оно глохнет у человека с возрастом, с личным жизненным опытом и усвоением науки — жизненного опыта, знаний всего человечества. Нет, знание никогда не должно убивать в человеке веру в то, что сегодня кажется нам тайной, дивом, а завтра будет всеми признано и объяснено.

Не знаю, как дальше скакнули, разбежались и вдруг опять соединились мои мысли, так спокойно тянувшиеся до этого момента.

Помню только — на опушке дробно, громко затрещал всполошенный чем-то певчий дрозд. Беспокоясь, дрозды всегда так отчаянно кричат, точно их уже схватили за хвост.

Протрещал и смолк. И от этого сильного звука еще тише показалось на поже. И еще отчетливей в тишине зазвучал оркестрик кузнечиков — всё где-то слева от меня.

И тут вдруг пришло мне в голову: «Но ведь это же абсурд! Какие же кузнечики в самом начале лета, когда еще цветут купальницы! Кузнечики у нас начинают трещать только в июле».

Я так резко повернулся налево, что даже выронил папиросу из рук.

Так всё и было, как рассказывала моя внучка: там, над ручьем, на вершине ольхи сидела горбатенькая птичка. Она разевала клюв, и перья на раздутом горлышке у нее трепетали, а песни не было слышно. Только громко стрекотали кузнечики.

Вероятно, я своим резким движением испугал немного певца: он исчез, камешком свалился с ветки. И в тот же миг оборвалось стрекотанье кузнечиков.

Ну, мне-то, конечно, было достаточно и одного этого мгновения, чтобы узнать птичку: и фигурка ее горбиком, и характернейшая повадка — в случае тревоги камешком падать в траву с того высокого места, где она сидит, распевая, и, разумеется, самая его эта оригинальная песенка-трель, почти неотличимая от стрекотанья крупных кузнечиков, — всё разом сказало мне, что это был обыкновенный сверчок, камышевка-сверчок

Скажете — пустяки? Нет, совсем не пустяки! Вы только подумайте: три года слушал я тут птиц, написал, казалось мне, исчерпывающую работу о них, а вот эту птичку как-то совсем упустил из виду. Не ждал — уж не помню, по каким тогда своим соображениям, — не ожидал ее тут встретить. И много раз, конечно, слушал с этого же самого пенёчка ее песню — и не слышал. А как услышал вот тут в первый раз ее, так и в других местах кругом стал слышать сверчков: их оказалось в окрестностях нашей деревни немало.

Пришлось спешно взять из печати мою работу и дополнить ее еще одним гнездящимся видом.

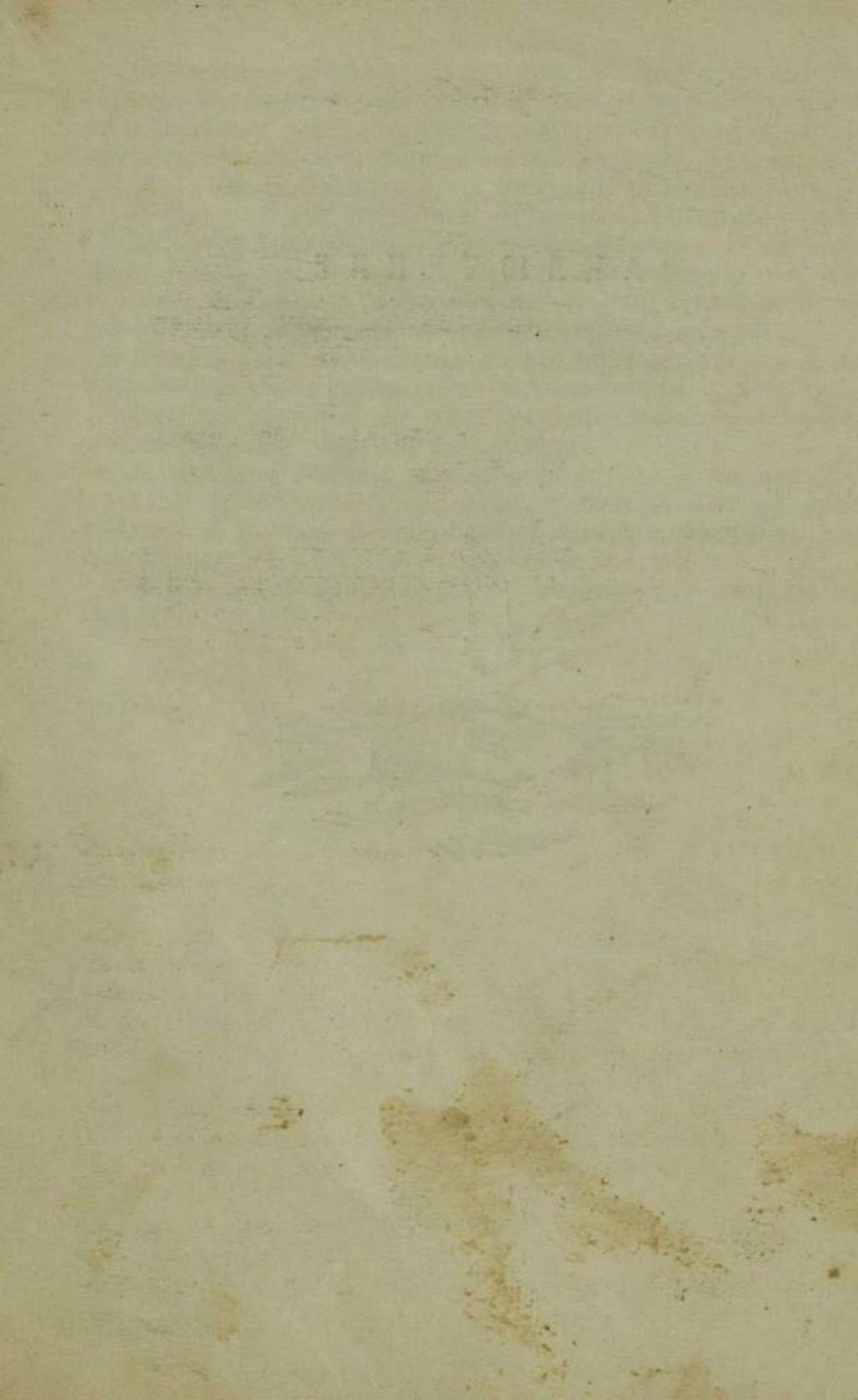
Нет, не слышим, не слышим ведь мы того, о чем не думаем! Очень многого не слышим.

И спасибо внучке, что мне помогла. Я ей включал слух на известное. А она мне включила слух на неизвестное и, казалось мне, немислимое: на какую-то «неслышимку»!

И правда оказалась на ее стороне, на стороне ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ







ЧАЙКИ НА ВЗМОРЬЕ

Когда станешь взрослым, не презирай мечты твоей юности.

Испанская поговорка

Рано утром, когда в дачном поселке все еще спали, на берег моря вышел человек с седеющими висками, с глубокими, но сияющими, как у ребенка, глазами. Широкополая шляпа едва ли могла бы удержаться на его непокорных волосах, если бы дул хоть небольшой ветер. Но был штиль.

Когда-то в детстве этот человек провел одно лето здесь — на взморье. Теперь он приехал издалека: ему пришла фантазия вновь посетить это памятное ему место.

Всё изменилось тут. Где были сосны да жалкие лагуги рыбаков, теперь рядами стояли нарядные дачи горожан, цвели сады. Лишь руководствуясь очертания-

ми берега, мог он узнать места, где купался, ловил пескарей, колюшек, играл с товарищами.

Да и его вся жизнь изменилась с тех пор до неузнаваемости. Чем он был тогда? Одиноким, обиженным судьбой мальчиком. А теперь?..

Но море — море осталось тем же. Лишь отмели на нем несколько переместились. И так же над ним летали белые чайки.

Чайки кричали.

Человек прислонился спиной к столбу, сложил на груди руки, закрыл глаза.

Чайки кричали.

Призрачный сон воспоминаний охватил человека.

Недалеко от берега на песчаной отмели стояли чайки. Белопёрые свои тела держали горизонтально, — точно плыли, но шеи вытянули вверх, клювы повернули все в одну сторону: туда, где, расширяясь, исчезают берега залива, где открывается безбрежное море.

На них, не отрываясь, смотрел мальчик. Он лежал на берегу под сосной, у небольшого обрывчика. Вихрастую голову положил на руку. Его задумчивые глаза были глубоки, темны — и, казалось, удивляются всему, что видят перед собой.

Когда лежишь так и смотришь вдаль, мир кажется разрезанным пополам на плоское и выпуклое; и всё в нем становится как-то необыкновенно и удивительно.

Мальчик сам не знал, почему его взгляд притянули чайки. Потому ли, что пятно их блестящего белого оперения на золоте отмели было очень ярко и красиво? Потому ли, что эти красивые птицы всегда будили в нем неясные мечты, неопределенные желания?

Чайки стояли неподвижно, безмолвно, и в этой неподвижности, в безмолвии и в высоко поднятых тугих шеях птиц была большая серьезность, почти торжественность. Был час полуденной тишины, передышки, и ни одна из птиц не слетала покружиться над зеленой волной, высмотреть в ней рыбку.

Полдень был знойный. Расплавленный воздух струился над берегом, заставляя дрожать все очертания, и утомлял глаза. Маленькие плоские волны мелодично шипели, набегая на песок. Пахло тинной, морской пеной, сырыми пухлыми камышинами, которые выкинуло и оставило на берегу море.

Мальчик оторвал утомленный взгляд от чаек. Глаза его бесцельно стали блуждать по зеленой глади моря.

Шли три серокрылые лайбы. Далеко за ними — на фарватере, — густо дымя, медленно-медленно тащил три продолговатые баржи черный, как водяной жук, буксир. Навстречу ему стремительно неся плоский серый миноносец. Он далеко за собой повесил длинную полосу дыма.

Глаза мальчика разгорелись. С минуту он жадно следил за миноносцем. Потом горько вздохнул и отвел от него взгляд.

Вдруг одна из чаек подняла над спиной узкие с черными концами крылья. Держа их так, сделала два неловких шага к краю отмели и, ударив крыльями по воздуху, поднялась над водой...

Сейчас же все ее подруги повернули к ней головы и закричали резкими, хрипыми голосами — сначала протяжно, под конец — отрывисто, круглыми вскриками.

Никогда не мог мальчик спокойно слышать их громких, пронзительных криков.

Один раз ему все-таки удалось побывать на настоящем морском судне. Да еще на каком — на военном! Волна перехлестывала через катер, на котором подъезжал мальчик, била в высокий стальной борт броненосца, а броненосец даже не покачивался. И низко над волнами и высоко над пушками и мачтами броненосца летали чайки. Уже вернувшись на берег, мальчик все еще слышал их пронзительные крики.

Их крик иногда чудился ему даже в далеком от моря городке. От их крика сосало под ложечкой, хотелось куда-то бежать, хотелось чего-то необыкновенного.

Чайка сделала круг над отмелью и, выправив полет, направилась к чему-то темному, что покачивалось на пологих волнах между отмелью и берегом.

Мальчик вдруг сел. Глаза его расширились от изумления.

Темный предмет то исчезал, то снова показывался, поблескивая углами на солнце.

Мальчик хорошо разглядел его: это был медью по углам окованный сундучок — точь-в-точь такой, в каком рылся на броненосце матрос в кубрике.

Чайка снизилась и, вытянув ноги, аккуратно стала на край сундучка. И сложила крылья.

Опять раздался резкий, нестройный крик с отмели.
Но мальчик уже не слышал его.

Ночной океан в гигантских волнах качает отраженные звезды черных небес.

Океанский пароход от трюма до верхней палубы весь залит ярким светом. Но черное и грозное, с потухшими огнями подходит к нему пиратское судно.

— На абордаж! На абордаж!

Перебиты матросы, капитан связан и лежит на полу в своей каюте. Пассажиры поднимают руки под дулами пиратских ружей и револьверов.

По узкому трапу, перекинутому с борта на борт, пираты таскают награбленное добро. Трап скрипит, качается, уходит из-под ног.

Один из грабителей оступился. Вместе со своей тяжелой ношей — обитым медью сундучком — он летит в черный провал между пароходами. Отчаянный крик погибающего. Но в ответ ему гремят лишь проклятья пиратов: им некогда спасать товарища — еще много добра и золота осталось у пассажиров.

Пиратское судно скрылось во тьме.

Капитан развязан. Пассажиры притихли, подавленные страхом и несчастьем. Только один из них всё еще бушует.

Это американский миллиардер. В простом матросском сундучке, — чтобы никто не заподозрил, — вез он половину своего огромного богатства.

Далеко позади плывет его сундучок.

Он поднимается на хребты гигантских волн, скользит в пропасти между ними. Его не замечают с проходящих вдали судов. Только чайки да альбатросы присаживаются на него отдохнуть, да раз об его медный угол разбилась падавшая обратно в море летучая рыба.

Из океана в океан, из моря в море, — и вот доплыл сундучок. Сейчас его прибьет к берегу.

В нем шуршащие кредитные билеты с бизонами — сто миллионов долларов. В нем алмазы, рубины, легкие жемчужные ожерелья и другие драгоценности.

О находке мальчика напечатают во всех газетах. На эти деньги родина построит много новых первокласс-

ных военных судов. А в награду ему дадут чудную быстроходную яхту с командой — для кругосветного путешествия. На ней будет и скорострельная пушка, канониры и фейерверкер: на случай встречи с пиратами.

Другая чайка, покружив над сундучком, опустилась на него рядом с первой.

Вконец истощенный человек с тяжелым сундучком на спине, шатаясь, пробирался к берегу цветущей страны.

Вокруг него качались на длинных стеблях цветы невиданной красоты. Над ними кружились крошечные птички; их радужное оперение сверкало и переливалось на солнце, в воздухе звенели их нежные песни. Странные звери с задумчивыми и добрыми глазами, прыгая, как лягушки, приближались к человеку и разглядывали его со спокойным любопытством.

Человек сорвал один из высоких цветков. Удлиненная чашечка цветка была до краев наполнена сладким цветочным соком. Человек жадно опрокинул его себе в рот, проглотив влагу, отбросил цветок. Звери подхватили цветок на лету лапками с тонкими, как у детей, пальчиками. Принялись играть цветком.

Солнце стояло над самым горизонтом. Но прошел час, другой, а оно не заходило.

Теперь человек был на горе. Он полз, таща за собой сундучок.

Подполз к самому обрыву и заглянул вниз.

Прямо под ним было море. Но в стороне тянулся узкий берег и на нем виднелись люди.

Они стояли длинным рядом у воды. Все были одинаково одеты в белые малицы до пят. Все одинаково держали по швам руки в длинных рукавах. Все смотрели в море. Над ними летали чайки.

Люди — это спасенье, жизнь!

Человек приподнялся на скале и, собрав все силы, крикнул:

— Йо-го-го-о-о!..

Весь длинный ряд людей повернул к нему головы. Но все остались стоять неподвижно.

Человек уронил голову на руки и заплакал. Он понял, что это не люди: птицы — пингвины, пингвины!..

Долго лежал лицом вниз. Потом поднялся на колени, с большим трудом подтянул тяжелый сундучок к самому краю обрыва и столкнул его в море.

Сундучок ушел в воду, всплыл. Отливом его потянуло в море. Чайки полетели провожать его в далекое странствие.

Лихорадочный взор человека следил за ним, пока сундучок не исчез вдали за волнами.

В сундучке — дневник человека и подробное описание, как найти эту вечно цветущую страну. Страну, где птицы живут в ароматных цветах и звери с прекрасными ласковыми глазами подходят к человеку, чтобы пригласить его поиграть с ними в прятки или пятнашки.

Тот, кто сейчас выловит сундучок, отыщет эту никому неизвестную страну. Он переселит туда всех мальчишек из всех стран. Там будут они играть со зверями, петь с птицами, спать в цветах. А потом построят себе целый флот и будут иногда ездить к своим родителям.

А знаменитый путешественник, который один спасся от кораблекрушения и нашел эту страну, — путешественник как-нибудь прокормится пока цветами и кореньями, а потом может вернуться к себе на родину.

И третья чайка подлетела к сундучку.

Но ей не было места для посадки, и она стала медленно кружить над сундучком.

Сундучок был уже совсем близко от берега. Мальчик ясно видел один из его помятых медных углов, почему-то выше других торчащий из воды.

Мальчика уже била лихорадка нетерпения. Он больше не мог дожидаться, пока медлительные волны выкинут ему чудесный подарок моря. Он уже не мог мечтать: он должен был знать, что несет ему сундучок!

Мальчик прыгнул с обрыва и, обгоняя осыпающийся под ногами песок, побежал вниз, к воде. Встревоженные его бурным появлением обе сидевшие на сундучке

чайки поспешно снялись и вместе с третьей полетели в море. Всполошились и их товарки на отмели. Поднялись без крика, всей стаей. И, широко разлегвшись в воздухе, потянули туда, где море теряло берега.

Мальчик вбежал по поясу в воду, дрожащими руками ухватил сундучок за два угла и потащил его к берегу.

На берегу оказалось, что сундучок не заперт.

Сердце больно било в виски мальчика, когда он откинул забухшую крышку.

Сундучок был пуст.

— О, какая злая насмешка!

Но на внутренней стороне крышки мальчик увидел самого себя: там было вделано карманное зеркальце, и в холодном стекле живо отразились глубокие, страстные, удивленные глаза — глаза мечтателя и все его розовое лицо и обидные мальчишеские вихры на голове.

Издали — со стороны открытого моря — донесся до него крик белых птиц, птиц широких водных просторов.

Издали крик чаек похож на насмешливый хохот.

Человек открыл глаза.

Да, это было то самое место, где он мальчиком получил в подарок от моря матросский сундучок.

Подарок этот он бережно хранит до сих пор.

Каждое новое издание своих стихов — одну книжку — он кладет в заветный сундучок. Теперь сундучок полон почти доверху.

Он сумел наполнить простор мира своими мечтами, своими увлекательными стихами о тайнах жизни.

И когда открывает теперь крышку сундучка, попрежнему в зеркальце отражается то же лицо, те же удивленные, сияющие глаза, хоть они и постарели лет на сорок. Но еще он видит и другое: множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и к кому обращал свои слова, самые заветные, самые дорогие сердцу. Люди — знакомые и незнакомые, — он отдал им себя целиком, все луч-

Шее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и лучше. Пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны — это только полонина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия — большие и маленькие — передать людям братьям. Не в этом ли высшее на земле наслаждение.

«В конце концов, — думает поэт, вспоминая подаренный ему морем сундучок, — это было совсем не так глупо и зло. Лучшего подарка я никогда в жизни не получал».

Чайки хохочут вдали.

Поэт вслушивается в их крик и, сияя удивленными глазами, говорит вслух самому себе и всему миру:

— Но это ведь совсем не хохот! Это — фанфары, пронзительный и могучий зов. И он наполняет собою глухие без него просторы морей и поднебесья.



СОДЕРЖАНИЕ

Открытие тайн	3
-------------------------	---

ВСТУПЛЕНИЕ

Горской чертенок	9
----------------------------	---

НЕХОЖЕННЫМИ ТРОПАМИ

Как дяденька Волов искал волков. (Рассказ школьника)	17
Ябчик	27
Цветная ночь	40
Ласковое озеро Сарыкуль	47
Жульбарс. (Рассказ ворошиловского стрелка)	58
Золотая чайка	64
В горах на Кубани	73
Муранки. (Рассказ счетовода)	83
Тайна ночного леса. (Рассказ юнната)	90
Заяц-всезнаец	95
Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать. (Рассказ паромного механика)	104

ЗАДУМЧИВЫЕ РАССКАЗЫ

Розовое и оливковое	113
Двойная весна	117
Ночной зверь	124
О, Аулей, Аулей, Аулей!	132

РАССКАЗЫ О ТИШИНЕ

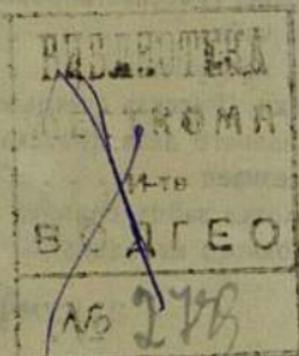
Уммб	139
«Она». (Рассказ молодого ученого)	151
Неслышимка. (Рассказ старого ученого)	163

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чайки на взморье	171
----------------------------	-----

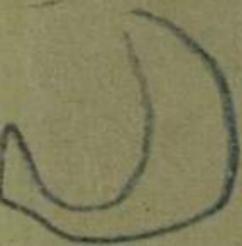
Для среднего и старшего возраста

Ответств. редактор В. Воеводин.
Худож. редактор Н. Полозов. Технич.
ред. Н. Сусленникова. Корректор.
М. Дмитриева. Печ. л. 11,25. Уч.-авт.
л. 8,6. Тираж 30 000. Подписано в пе-
чати 18/VI-1947 г. М-04731. Заказ № 588
2-я фабрика детской книги Детгиза
Министерства Просвещения РСФСР.
Ленинград, 2-я Советская ул., д. 7.





80 =



5 p. 75 :